РОМАН ГАЗЕТА

№ 15 (339) · 1965

ГЕОРГИЙ ХОЛОПОВ

ДОКЕР

ГЕОРГИЙ ХОЛОПОВ

Имя автора этой книги — Георгия Константиновича Холопова — известно читателю уже около тридцати лет. Его лучшие произведения пользуются успехом потому, что есть в них личное знание жизни, о которой пишет автор, есть пристальное внимание к психологии, есть то взыскательное, „экономное" отношение к слову, которое свойственно настоящему художнику. Книги Георгия Холопова нельзя оторвать от его жизни. В них, художественно претворенный, живет опыт его собственных наблюдений и переживаний.

Детство будущего писателя прошло на Кавказе и в Астрахани. Родился он в 1914 году в городке Шемаха. Оставшись без отца, в ранней юности начал свой трудовой путь и, как семнадцатилетний Гарегин, герой автобиографических романов „Гренада" (1962) и „Докер" (1965), грузил баржи и пароходы в бакинском порту.

В 1931 году Георгий Холопов переехал в Ленинград. Здесь он учился. Здесь он работал слесарем на заводе имени Карла Маркса. Вскоре в ленинградских журналах появились его первые литературные произведения. В 1940 году вышли в свет роман „Медвежий Лог" и сборник рассказов „Бегство Сусанны".

Во время Великой Отечественной войны офицер Георгий Холопов прошел долгий путь от Свири до Праги. С первых дней мирной жизни он снова берется за перо. Его послевоенные романы „Огни в бухте" и „Грозный год", повествующие о жизни и деятельности С. М. Кирова в Астрахани и Баку, отличаются исторической достоверностью и богатством впечатлений, накопленных автором в отрочестве и юности. Фронтовые наблюдения легли в основу многочисленных новеллистических произведений писателя, собранных в книгах „Русские солдаты" и „Невыдуманные рассказы о войне".

Роман Георгия Холопова „Докер" состоит из ряда новелл, объединенных фигурой главного героя — Гарегина. Перед нами история одной юной жизни, в которой прослеживается формирование характера героя. Автор сталкивает его со многими людьми и через их судьбы показывает своеобразие того времени.

1931 год... По всей стране прошла коллективизация. Но есть еще люди, мечтающие о возврате к минувшему, как бывший нэпман Сааков, от которого отказалась родная дочь, комсомолка Зара; есть и люди, невинно пострадавшие от перегибов при проведении коллективизации, — такие, как крестьянин Иван Степанович, покинувший родное гнездо и ради безопасности выдающий себя за глухонемого. Гарегин стремится разобраться в столь разных судьбах, помочь товарищам в беде.

Те, кто читал „Гренаду", помнят „железную четверку" школьных друзей, воспитанных на высоких идеалах революции. Они получают суровую жизненную закалку. Став портовым грузчиком, Гарегин выполняет тяжелую работу, но искренне гордится высоким званием рабочего. Порой он сталкивается с грубостью и ложью, эгоизмом и подлостью, но остается верен своим идеалам. Время вносит поправки в школьные представления Гарегина о жизни. Вначале он мечтает „махнуть на помощь западному пролетариату", чтобы ускорить победу мировой революции. Но позднее юноша приходит к пониманию того, что советский рабочий, строя социализм на своей земле, тем самым помогает и пролетариям других стран в их благородной освободительной борьбе.

В романе „Докер" много поэзии. Написанный от лица героя, он лиричен, овеян юношеской романтикой. Есть в нем и поэзия труда, поэзия дружбы, интернациональной солидарности. Когда в порт прибывают иностранные гости — немецкие красные фронтовики, сердце Гарегина бьется учащенно, оно полно сочувствия к немецким товарищам; он знает о нелегкой их доле, о борьбе гамбургских портовиков, о сражениях берлинских рабочих.

Прекрасен этот юноша — человек свободный, с душой, открытой трудовому люду, всегда готовый бесстрашно бороться со злом. И у него и у автора, который откровенно любуется своим героем, есть своя философия жизни — философия активного добра.

Георгий Холопов поднимает в своем романе важную тему рождения героя. В повседневных трудовых буднях Гарегина мы видим подготовку к подвигу. Он не произносит никаких деклараций, живет естественно и просто, но не стихийно, а в поисках. Это поиски нравственные, общественные, политические.

Гарегин все больше понимает, что на избранном им пути неизбежны жертвы. В этом его убеждает пример моториста Федора, отдавшего жизнь ради спасения товарища. Глава, рассказывающая о встрече Гарегина с Федором, воспринимается почти как самостоятельная новелла. Но она, как и другие главы-новеллы, входящие в роман, органична, „пригнана" крепко, неотрывно. Встреча с Федором и завершает путь духовных исканий Гарегина, его учебу у жизни. Философия активного добра становится философией подвига.

Роман Георгия Холопова „Докер" созвучен нашему времени, в нем — сильный заряд молодости. Поэтому его с удовольствием прочтет сегодняшняя молодежь. Прочтут и те, кто был юным в годы юности Гарегина, кто по сей день не растратил душевного задора.

АЛЕКСАНДР ДЫМШИЦ

№ 15 (339)
1965

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА

ГЕОРГИЙ ХОЛОПОВ

ДОКЕР

РОМАН

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

— Нет, дорогой, не могу я тебя устроить на работу. — Гусейн-заде — начальник погрузочных работ Морагентства — откидывается назад н сладко зевает, хлопая тяжелой и широкой ладонью по губам. Ему явно со мною скучно! — Нет у меня никакой вакансни — ни на маркнровщика, ни на складского рабочего, ни на кого другого.

«Злой дядька! А говорят — сам нз грузчиков, добряк».

Опустив голову, я тереблю в руках кепку, переминаясь с ногн на ногу. Невольно любуюсь своими огромными сапожищами. «Да, им сносу не будет. Неужели они не произведут впечатления на начальннка?»

— А на пароход?.. На какую-нибудь шаланду?.. Я бы делал любую работу, — говорю я н поднимаю голову.

— Это не по моей частн, дорогой. Этажом выше. — Он тычет пальцем в потолок и снова, на этот раз с хрустом, зевает во весь рот.

Но я уже был наверху.

— А куда-ннбудь в артель... грузчнком?

Гусейн-заде нацеливается в меня прнщуренным глазом. Справа от него на столе лежит учебник алгебры и раскрытая тетрадь, исписанная какнми-то пьяными н пляшущнмн цифрами, величнной с пятак. («Учнтся он, что ли?») Слева стоит медная пепельннца в два килограмма, похожая на персндскую чашу, до краев набтая окурками.

— Грузчнком?.. Амбалом, значит?.. — Гусейн-заде приоткрывает глаз, подозрительно смотрит на меня, пожевывая губами. — Не очень большой ростом, можно сказать, мальчик. Говоришь — восемнадцать лет? — Он кладет рукн на стол н сжнмает их в кулакн — каждый размером с кувалду. — В кадровую артель тебя не возьмут. Там норма на день семь — десять тонн груза на человека. Знаешь, это сколько? Четыреста — шестьсот пудов!.. А к сезонникам илн к «бродягам» в двадцать седьмую артель, еслн даже прнкажут Гусейну-заде, — не пошлю.

— К бродягам? — спрашиваю я.

— К бродягам и бандитам! — вдруг взрывается он, слегка стукнув кувалдами по столу. Пепельннца подпрыгивает довольно-такн высоко. Потом он обращается ко мне с удивнтель-

ной откровенностью: — Посуди сам, дорогой... Неделю назад нашим артелям выдавали спецодежду... Я приказал выдать и «бродягам»... Ты думаешь, они пришли, сказали: «Спасибо, Гусейн-заде»? Вот! — Он выбрасывает кувалду через стол, показывает кукиш. — В обед пятнадцать человек из этой артели получили костюмы, ботинки — и убежали с работы. Осталось теперь в их шараге семь человек. Тоже не сегодня-завтра убегут. Бандиты это или не бандиты? Бандиты! — Он подходит к раскрытому окну. Делает несколько жадных глотков раскаленного воздуха. — Я бы их давно разогнал, — тут он расстегивает пуговицу на косоворотке, — да рабочей силы не хватает. Большой грузооборот! Но много и пустячного груза, а расценки — копейки. Хорошую артель на него не поставишь, в два дня прогорит. Вот так, дорогой. — И он беспомощно разводит руками.

Мне даже жалко становится Гусейна-заде. И начальникам, выходит, не всегда бывает сладко на работе. Я откланиваюсь и выхожу.

Некоторое время я стою в растерянности на прокаленной солнцем, грохочущей от шума телег, дрог, грузовиков улице, потом становлюсь в ощетинившуюся сундучками и узлами очередь крестьян, штурмующую ворота пассажирской пристани, что против Морагентства. Хочу пробраться на пристань, узнать, не здесь ли работает артель «бродяг».

Но когда я добираюсь до ворот, контролер отшвыривает меня в сторону, как и других безбилетников.

Я иду на «пятачок». Мне ничего другого не остается, как дождаться кого-нибудь из пристанских работников, у них спросить о двадцать седьмой артели.

И на пятачке полно крестьян. Многие здесь располагаются с семьями. В какие неведомые дали они собираются в это трудное лето тридцать первого года?..

Пятачок — своеобразная портовая «достопримечательность». Здесь, в разных его концах, два конкурирующих между собой старичка готовят на мангалах дешевый шашлык на деревянных шампурах. У них есть постоянные покупатели среди грузчиков. Некоторые здесь годами завтракают и обедают. Но главными клиентами являются жулики, которые давно на пятачке устроили свою «хазу» — правда, без всяких тайн, выставленную напоказ. «Большая хаза» у них находится в Ростове. На пятачке у жуликов — перевалочный пункт, место явок. Здесь же они отдыхают, дуются в «очко» и в «буру».

Вот и сейчас у них идет крупная игра. У каждого рядом стоит трехлитровая бутыль белого виноградного вина, разная закуска, остывший шашлычок, который время от времени старички заменяют свеженьким. Жулики — народ богатый. Вон какие у них «банки»: триста рублей, пятьсот рублей. Годовой заработок рабочего человека!

Вокруг них столпились приезжие бабы и мужики и, как видно из их разговоров, ошалевают и от этой игры, и от этой раздольной жизни. Хорошо жить в городе, только бы на работу хоть какую устроиться, найти крышу над головой. А там — все наладится... А работа не страшна. Страшнее деревенской ведь не бывает работы.

Правда, думая так, они не ведают, чем промышляют сидящие за этими бутылями, банкуя гору скомканных червонцев. И на нефтяных промыслах приезжие еще не бывали, не знают они того, что это за дьявольский труд — добывать нефть из земли, дышать нефтяными газами, ходить в пропитанной нефтью одежде, к тому же в такую нестерпимую жару. Рабочему человеку тоже ведь ничто не дается легко!..

На толстых бамбуковых костылях, высоко вскидывая параличные ноги, среди крестьян толчется Махно — главарь всей этой большой шайки жуликов. Он моего возраста, может, года на два старше. У него детское улыбчивое лицо, голубые-преголубые глаза. А волосы, цвета спелой ржи, ниспадают на самые плечи, как у монаха. Но, говорят, жестокости он необыкновенной, и потому никто от Ростова до Одессы не желает связываться с его шайкой.

Махно подходит то к одной группе крестьян, то к другой, балагурит с бабами, но те думают, что он нищий или юродивый, отмахиваются от него:

— Иди, иди, милой, бог поможет.

— И без тебя тошно, паря, катись-ка ты.

Махно подзывает к себе крестьянских ребятишек, уводит их к старичкам-шашлычникам, угощает поджаренным на палочках мясом, попахивающим дымком. Такого ребятишки никогда не ели, и они в восторге от Махно.

Потом он тащит их к ларьку, покупает с десяток бутылок лимонада, каждому сует по горсти дорогих конфет.

— Ой, бабы, хромой-то приворожил ребят! — всплеснет руками то одна, то другая крестьянка...

Я тоже толкаюсь среди деревенских. Судя по всему, это приезжие из северных областей России, с Украины, с Кубани и Дона, с Волги.

«Кулачье, наверное, какое-нибудь, — думаю я. — Кто же бежит от коллективизации?»

Из ворот пассажирской пристани выходит маркировщик с банкой краски в руке и направляется через дорогу в сторону вещевого склада Морагентства.

Я бегу ему наперерез, спрашиваю про двадцать седьмую артель.

— Двадцать седьмая? — Маркировщик смотрит на меня таким недобрым взглядом, точно вот-вот плеснет краску в лицо. Цедит сквозь зубы: — Ищи-ка, друг, эту шарашку на

лесной пристани. Не хватало еще, чтоб работала на пассажирской. Знаешь, где лесная?..

Еще б не знать! Я тут хорошо все изучил, на берегу. И давно! Ведь это уже третья моя попытка устроиться на работу в порт. Первый раз я приходил сюда года три назад. Не приняли. Даже посмеялись: как такое могло прийти мне в голову?.. Приходил в прошлом году. Опять не приняли. Теперь снова отказали.

Нет, мне больше невозможно оставаться в русских сапогах — горят ноги. Раз уж они не произвели никакого впечатления на Гусейназаде, — к черту их! Я снимаю сапоги и, стянув их поясом, перекидываю через плечо, уныло плетусь мимо пристаней и пакгаузов, у которых какие-то старички и старухи с веничками в руках чуть ли не по зернышку собирают в совочки рассыпанную пшеницу. По лаптям видно — не местные жители, крестьяне из глубинных районов России.

Но на лесной пристани тоже нет двадцать седьмой артели!

Нахожу я артель только на окраине города, на железнодорожной пристани. Но грузчиков в ней только шестеро.

Я сажусь под навесом товарного склада и наблюдаю за ними. Что это за люди? Почему все их ругают?

* * *

Грузчики-бродяги гоняют с места на место порожние вагоны, дурачатся, как дети, окликая и подзадоривая друг друга, хотя, судя по всему, самому «молодому» из них, должно быть, не менее тридцати лет. Это рыжеволосый, краснолицый, весь в веснушках грузчик, которого иногда называют по фамилии — Киселев, а чаще по кличке — «С легким паром». Оттого, что у него красное, как бурак, лицо, он и на самом деле кажется только что вышедшим из бани.

Молодым выглядит и самый рослый и симпатичный среди шестерки — Романтик. Интересно — почему Романтик? Его иначе и не кличут, хотя часто — искаженно, то Романтюк, а то и Рамантек. Этот, видно, грамотей. Из-за пояса у него выглядывает какая-то книжонка.

К ним можно причислить и Агапова — он среднего роста, сухопарый, похож лицом на мальчишку, и — с натяжкой — Чепурного, грузчика с резкими движениями, быстрыми, далеко упрятанными глазами, хищным носом, цыганистого по всему своему виду.

Остальные двое — люди хмурые, грузные. Им давно, наверное, за пятьдесят. Их ни разу не окликнули ни по фамилии, ни по кличке, и я окрестил одного «Угрюмым» стариком, а второго — «Глухонемым» стариком.

Но чем больше я наблюдаю за баловством «молодых» — старички в это время покуривают себе, — тем больше нахожу в нем смысла: они сгоняют на одну линию порожние вагоны, раскиданные по всей пристани. Не трогают они только пульмановский вагон, сиротливо стоящий в сторонке.

Вскоре на пристани появляется невысокого роста человек с усталым и испитым лицом, но аккуратненький с виду, в галстучке, в чистенькой спецовке. Заложив руки за спину, он неторопливым ровным шагом направляется к грузчикам. Первым замечает его «С легким паром» и подает сигнал: «Горбачев идет, Горбачев».

Старички присоединяются к молодым, и вместе они идут ему навстречу.

— Здорово, старшой, — кричит Агапов и весело машет ему рукой.

Машут руками и другие грузчики.

— Здорово, здорово, — нехотя отвечает Горбачев, видимо совсем не расположенный ни к бурному проявлению чувств, ни к шутке. — Что — еще не начинали работать?

— Прохлаждаемся, стало быть, товарищ старшой. Как и ты! — оскалив зубы, Киселев подходит к Горбачеву. — Нешто мы хуже тебя?

«Ай да язычок!»

— Ну, с меня нечего брать пример! — Старшой хмурится, но чинно со всеми здоровается за руку. — Я один, вас целая артель.

— С утра ждем паровоза, — вмешивается в разговор Агапов и кивает на пульмановский вагон. — Самим этого черта не сдвинуть с места.

Старшой вытаскивает из нагрудного кармана часы, качает головой:

— Да, поздновато. Уже половина двенадцатого. Скоро обед. — И хотя тем же неторопливым, ровным шагом, но решительно направляется к вагону.

Все молча идут за ним. Становятся в ряд. Заложив левую руку за спину, старшой правой упирается в стенку вагона, негромко командует:

— Раз, два, взя-а-а-ли!

Грузчики с ухмылкой переглядываются, но налегают плечом на вагон; вагон же — ни с места.

Тогда старшой уже двумя руками упирается в стенку вагона. Снова командует, но погромче:

— Раз, два, взя-ал-ли-и-и!

Но вагон стоит, как скала.

Старшой закидывает руки за спину и прогуливается вдоль рельсов; спрашивает:

— А что — разве «Казанская сирота» не на работе?

— Вишь ли, старшой, Шарков дрыхнуть прилег маленько, — говорит Киселев.

— Так надо его поднять! Как же вы, черти, не догадались! — Он складывает ладони рупором, кричит: «Ша-а-арко-о-ов!..»

Немного погодя в дверях склада появляется горбящийся человек, с руками чуть ли не ниже колен. Это, видимо, и есть седьмой грузчик артели, — старшой не в счет. Он в меховой об-

лезлой шапке, — в такую жару! — в выцветших от солнца рыжих рваных сапогах, в кожаном фартуке поверх брезентовой робы. С заспанным лицом, он проходит мимо меня и, осторожно переступая через рельсы, водя руками перед собой, как это делают подслеповатые люди, идет по шпалам к вагону.

Киселев и Агапов подбегают к нему, хватают под руки и со смехом волокут к старшому.

— Давай, Шарков, твоего «мордвина», — говорит Горбачев. — А то вагон не сдвинуть с места.

Шарков близоруко щурится на всех, говорит с татарским акцентом:

— Да бросьте, ребятка! Не балуй! — Он пытается вырваться из цепких рук приятелей и бежать, но его крепко держат.

— Давай, давай! — строго говорит старшой. — Подгоним вагон к самому складу, вам же ближе будет таскать груз.

— Да нет, ребятка, не буду! — Шарков снова пытается вырваться. — Народу много на пристани. Не буду!

— Народ, народ! — передразнивает его старшой незлобиво. — Не благородные девицы, ни черта с народом не станет.

«Что, интересно, просят у него?» — Я с любопытством наблюдаю за грузчиками. Они же — все широко улыбаются. Даже припадающий на правую ногу Глухонемой старик.

Шарков наконец поддается уговорам, с силой бьет шапкой о землю (Киселев тут же ее поднимает, натягивает ему на голову), подходит к вагону, упирается плечом в стенку, все охотно следуют его примеру, старшой кричит мне: «Эй, парень, ты тоже помогай!», я надеваю сапоги, с радостью подбегаю, упираюсь грудью в буфер, Шарков зычным голосом затягивает на всю пристань похабную волжскую частушку: «Эй, мордвин, нос подвинь», грузчики подхватывают частушку, Шарков во всю глотку гаркает: «Да у-у-у-хне-е-ем!..» И чудно́: тяжелый, тридцати- или сорокатонный вагон медленно трогается с места, словно нехотя набирает скорость и под дружный хохот грузчиков и выбежавших из конторы служащих и экспедиторов катится по направлению к складу.

Старшой хлопает Шаркова по плечу:

— Силен «мордвин»!

— Силен, силен! — раздается со всех сторон.

Трое бегут за вагоном, остальные идут рядом с Горбачевым. Иду и я с ними.

— Ну как, старшой, дела? — Агапов стряхивает пыль со спецовки, брезгливо вытирает руки. Видимо, чистюля. — Выиграл? Проиграл?

— Не спрашивай, ребята, — отвечает Горбачев, подозрительно посмотрев по сторонам. — В шестом часу утра только закончил игру. Многовато дал «фору», не рассчитал силенки. — Он вздыхает, обращается ко мне: — А ты кто будешь, парень?

— Да вот наниматься пришел на работу, — говорю я и тут, неожиданно для себя и для окружающих, как мальчишка, ударяю носком сапога подвернувшийся под ноги камешек.

— Молод еще, конечно. — Старшой оценивающе смотрит на меня, потом переводит взгляд на мои сапоги. — Так и сапоги можно испортить. Кажется, они тебе великоваты? Да. Ну и заработок у нас маленький, не то что в других артелях: одна ставка — пятьдесят два рубля и сорок копеек.

— А мне и ставки хватит, на большее я и не рассчитываю, — отвечаю я.

— Раньше-то где работал? Палан носить умеешь? — накидывается на меня Агапов. Это он спрашивает про твердую треугольную подушку, которую носят грузчики на спине.

— Конечно, умею! — безбожно вру я, чтобы старшой не отказал. — Подумаешь — палан!

— А документы какие есть? — не отстает Агапов, неприязненно глядя на меня.

— Только метрика.

— Какого года?

— Тысяча девятьсот... двенадцатого, — говорю я, сразу прибавив больше года. Ох, как трудно врать, но делать нечего. Раз ведь я уже соврал!

— Сосунок еще!.. — Агапов хихикает и говорит какую-то гадость на ушко Романтику. Тот слушает его равнодушно и отходит в сторону.

Горбачев останавливается, мнет железными пальцами мне плечи. От боли я готов взреветь на всю пристань. Но удерживаюсь, кусаю губы. Потом коротким и сильным ударом он бьет меня в плечо. Я откидываюсь назад, готовый упасть навзничь, но старшой вовремя хватает меня за руку.

— А ты спроси, старшой, читать-писать он умеет? — объяснившись на пальцах с Глухонемым, трясет старшого за плечо Угрюмый старик.

— Да, да, спроси! — толкает того в спину Шарков, «Казанская сирота».

— Конечно, умею, — вытянув шею от гордости, как гусь, отвечаю я. — Недавно только кончил школу.

— Да бросьте его слушать! Парень заливает, а вы, дураки, уши развесили! — Агапов снова неприязненно глядит на меня.

— Школу кончил! — чуть ли не разом ахают все вокруг. Слушают меня, а не Агапова.

— Да ты почти профессор! — восклицает старшой. — Не поможешь ли мне вести табель?

— Помогу, — охотно отвечаю я, готовый помочь ему вести хоть бухгалтерию всего Каспийского пароходства.

Тут я думаю о моей матери. Добилась она своего, дотянула меня до последнего класса. А то ведь сколько раз я по нашей бедности пытался бросить школу! А вот у всех стоящих вокруг, наверное, не было такой упорной

матерн. Останься она у меня в живых, мне, может быть, потом даже пришлось бы поступить в институт, только чтобы не огорчить ее.

Старшой смотрит на меня, потом переводит взгляд на мои сапоги.

— Но учти, парень, — говорит он, — у нас бывает и вечерняя работа. Когда пароход запоздает. Иногда приходится грузить и разгружать даже ночью.

— А письма писать он нам будет? — Наклонившись ко мне, «Казанская сирота» щурится; глаза у него водянистые, покрытые пленкой, с еле заметными зрачками.

— Вот-вот, об этом я тоже хотел спросить! — тычет в меня пальцем Угрюмый старик. — А то нашего Романтика не допросишься.

— Буду писать письма! Я очень люблю писать письма! — отвечаю я.

— Ну вот и хорошо! — Шарков потирает руки. — Надо его взять в артель, ребятка. Ничего, что молодой.

Его поддерживают все, за исключением Агапова. Даже Глухонемой старик радостно кивает головой, что-то мычит одобрительно.

При таких заступниках, чувствую я, старшому будет трудно отказать мне. Но выглядит он несколько растерянным пока. Вместо прямого ответа — «да» или «нет» — он ласково вновь спрашивает меня:

— А не великоваты ли тебе сапоги, парень?

— Великоваты! На три номера, — с радостью признаюсь я. — Мне их дядя подарил. Говорит: «Лет через пять они тебе будут как раз».

— Смотри, парень, не советую в них работать. Ноги испортишь.

— Ничего, — говорю я. — Работать буду босиком, а сапоги носить после работы.

— Да, дареному коню в зубы не смотрят. — Зажав подбородок в кулак, старшой мучительно думает, как быть со мною.

— А кроме писать-читать, что умеешь, парень? — посмеиваясь, спрашивает «Казанская сирота». — Курить умеешь?

— Умею, но пока... без затяжки, — чистосердечно признаюсь я.

Вокруг хохочут, спрашивают:

— А пить?

— Нет.

— Научим!.. А баб щупать?

— Нет.

— Научим!.. А в карты играть?

— В дурачка.

— Научим!.. А красть?

— Нет, что вы...

— Бросьте дурака валять! — сердится старшой. Он, наверное, что-то уже решил. — Ладно уж! Коли нет бабы, так и поп баба. Вон валяется палан, бери его, парень, поработай дня три. Там видно будет.

«При чем здесь поп и баба?.. Загадками говорит старшой!»

Мы подходим к складу.

Дверь вагона уже откачена. Набит вагон какими-то ящиками. Оказывается, «скороходовские» ботинки из Ленинграда. Двое забираются в вагон подавать груз, двое в складе становятся на укладку. Трое начинают носить. Я беру палан, становлюсь четвертым. Мне тоже взваливают на спину ящик. Меня сразу же пригибает к земле, но я выпрямляюсь, насколько это возможно, чтоб не опрокинуть ящик, и чуть ли не бегу за Киселевым. Ничего, терпеть можно. Пуда на три ящик, не больше.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Утром я просыпаюсь раньше всех. Хотя у меня ломит в плечах и болит спина, я чувствую себя удивительно бодро.

В бараке спят. Ходики показывают без четверти семь. Я нетерпеливо одеваюсь и выхожу на улицу. Ведь вчера поздно вечером, переезжая сюда, я не успел как следует осмотреться вокруг.

Барак стоит между двухэтажным зданием охраны Каспийского пароходства и складами таможни. Напротив, через улицу — заколоченное здание Бакинской ярмарки. Года два назад здесь еще шла бойкая торговля персидскими товарами. Я любил с мальчишками нашего двора глазеть на фруктовые ряды.

Я прогуливаюсь по улице. Посреди проходит железнодорожная ветка. Ближе к берегу она забита вагонами.

Место здесь безрадостное, стык городской окраины и нефтяного района — Черного города. Голая, без единой травинки земля. Впрочем, если свернуть направо и перейти улицу Свободы, то на пустыре можно увидеть несколько чахлых акаций. Но за пустырем вокруг опять голая местность, виднеются прокопченные одноэтажные дома и склады с плоскими крышами, кое-где торчат трубы-коротышки небольших заводов.

Вернувшись, я вижу, что все по-прежнему спокойно спят.

«Вот чудаки! — хочется мне крикнуть на весь барак. — Неужели не выспались?.. Неужели вас не тянет с утра пораньше на работу?.. Ведь это так интересно — работать!»

Я произвожу как можно больше шума, грохочу коваными сапогами, без всякой надобности вытаскиваю из-под топчана свой фанерный чемоданчик, окрашенный в ядовито-желтый цвет, открываю и закрываю его. Но шум ни на кого не производит впечатления. Спят здесь крепко.

Наконец один зашевелился на своем топчане. Это Глухонемой старик. Но он, кажется, совсем не спал сегодня. Я дважды вскакивал ночью с постели, боясь опоздать на работу, и

видел его с широко открытыми глазами, уставившимися в потолок.

К радости моей, появляется тетя Варвара. Она здесь полновластная хозяйка: комендант, сторожиха, уборщица. Тетка грузная, рыхлая, но могучая. Она ставит на стол ведерный, из белой жести, чайник, резкими, как выстрел, взмахами мокрой тряпки сметает на пол остатки вчерашнего ужина, окурки, обрывки газет. Потом вразвалку идет к двери; вытаскивает из-под крайнего топчана медный таз, бьет по нему увесистой колотушкой.

Басовитый звон таза несется по бараку.

Тетя Варвара бьет семь раз и уходит. Я смотрю на ходики. Ровно семь.

На многих топчанах просыпаются, садятся, обхватив колени, некоторые начинают одеваться.

Я расстилаю газету на голых досках изрезанного ножами, исписанного и разрисованного карандашом стола, разворачиваю свой скромный завтрак и принимаюсь чаевничать. У меня бутерброд с брынзой и круто сваренное яйцо.

На столе, среди разбросанных костяшек домино, стоят две консервные банки. Одна — пепельница, вторая — солонка. Видимо, когда здесь пьют, то и в солонку тычут цигарки. Потому-то соль черная, перемешанная с пеплом. Яйцо ем я без соли и принимаюсь за чай. Но он какой-то бесцветный и пахнет железом. Пить его неприятно. Я выливаю чай за окно и прячу чашку в чемодан.

Снова я гуляю вокруг барака. Потом иду к берегу. Слева — железнодорожная пристань, справа — рыбный холодильник. На море полный штиль. У берега вода покрыта толстым слоем нефти. Я знаю отчего: после перегонки нефти на крекинг-заводах Черного города нефтяные воды спускают в море. И еще — много нефти льется в море при наливе в танкеры.

Да, тут не посидишь на берегу с удочкой, не поудишь рыбки...

Вернувшись в барак, я вижу, что грузчики, наши и соседней артели Вени Косого, еще только застилают свои топчаны. Потом они пойдут мыться и уже после этого — чаевничать.

Ходики показывают четверть восьмого.

В бараке мне не сидится, и я снова выхожу на улицу. Меня всего распирает от пружинящей силы. Это дает о себе знать вчерашняя работа на погрузке! Я сжимаю и разжимаю пальцы, и они мне кажутся железными. Ударь я сейчас кулаком по стенке барака — и барак развалится на части. Но я его щажу. Открываю дверь. За столом, неторопливо, истекая потом, распивают чаи и, судя по всему, рассказывают байки и сны. Никто никуда не торопится.

Ходики показывают двадцать пять минут восьмого.

Я вспоминаю, как начальник погрузочного отдела Морагентства Гусейн-заде ругал грузчиков-сезонников, и думаю: а может быть, он прав? Где еще виданы такие лентяи?

Первым в дверях барака показывается Киселев. Он до того «распарен» чаем, что меня так и подмывает приветствовать его словами: «С легким паром». Но, зная, что это его кличка и что он не очень-то ее любит, я воздерживаюсь. Надо же иметь такое красное лицо!

— Что, паря, пошли на работу? — закуривая, спрашивает Киселев. — Бери заместо палана наплечную подушку. Будем подсоблять Вене Косому разгружать шаланду. Дерьмовая работенка! Лишней копейки не заработаешь!

Мне хочется горячо возразить: «Разве же работа может быть дерьмовой? Вон у меня за день как налились мускулы!»

Но Киселев опережает меня:

— Нешто нет другой работы? Грамотей, а сунулся в грузчики.

— А не все ли равно, где трудиться?.. Мать у меня всегда говорила: «Разве самое важное — кем быть? Хоть амбалом! Важно, каким быть человеком...» Правда, она всегда стремилась, чтобы я был этим самым — грамотеем.

«С легким паром» искоса, подозрительно смотрит на меня. Заходит в барак, выносит две соломенные продолговатые, как дыни, подушки на брезентовом ремне. Одну протягивает мне. Закинув подушки за плечо, мы идем берегом.

— Мать-отец у тебя есть?

— Мать у меня недавно умерла, отец — давно. А вот сестра есть, — отвечаю я.

— Чего ж у сестры не живешь? В бараке не сладко, паря.

— Сестра у меня замуж вышла. У нас одна маленькая комнатка. Тесно очень, вот я и ушел.

— Ты себе найдешь жилье! Сестрам завсегда трудней! — одобрительно говорит Киселев, швырнув в сторону недокуренную цигарку. — Люблю я, паря, решительных! Я сам, считай, такой. Потому команды не терплю! Когда на меня орут, веришь ли, руки отваливаются, ноги дрожат. Такой уж характерец собачий.

Но вдруг он снова подозрительно смотрит на меня.

— А не рабочий стаж надоть тебе?.. Глядишь — потом махнешь учиться на начальничка?.

— Нет, — отвечаю я. — Никуда не собираюсь поступать. Какой с меня начальничек?

— Будет врать-то. Дураков что-то мало ломать себе спину. В конторке больше заработаешь. Я третий месяц в артели. Старожил, стало быть. Всякого тут нагляделся.

— Меня ведь никто еще не зачислял в артель. Вот поработаю несколько дней, тогда старшой и решит, как быть. Потом... я тысяча девятьсот четырнадцатого года. До восемнадцати — около года не хватает.

— За Горбачева не бойся! Мужик он свойский и не дурак. Вот только маленько зашибать

любит, и страстишка у него — гонять шары. Может, знаешь такую игру? .. Эх, нам бы еще человек двадцать, тогда, глядишь, дали бы и денежную работенку. А то ведь пропадешь! Нонче — доски, завтра — соль. А старшому надоть что-нибудь подарить. Поставь магарыч. Так уж положено! А может, ему приглянулись твои сапожки? Отдай, себе купишь другие. Метрики ж твои можно выправить. Попроси Агапова! Он такие лепит документы — сам черт не подкопается.

Теперь уж я искоса подозрительно смотрю на него.

Он перехватывает мой взгляд, говорит:

— К нам, паря, идет народ отпетый. Как говорит Романтюк — отбросы обчества. Считай, я сам такой.

— Какой?

— Отброс!

— Отброс?! Почему?

— Уехал из деревни.

— Кулак, стало быть?

— Ку-у-у-ла-а-ак! — Он презрительно смотрит на меня, побагровев до невозможности. — Больно ты много смыслишь в деревенских делах.

Я останавливаюсь. Спрашиваю:

— Кто же при социалистическом преобразовании сельского хозяйства бежит из деревни?

Киселев немного проходит вперед. Оборачивается. Делает шаг ко мне. Кажется, сейчас он как следует двинет меня.

— Ты, гад, тоже говоришь заученными словами?.. Молоко не обсохло на губах! — Он нехорошо ругается и уходит.

Я еще некоторое время стою на месте, оглушенный его руганью.

«Вот странный человек, — думаю я. — Чем же я его обидел? Заученными словами? Но так ведь всегда говорил наш обществовед Ираклий Гаспарович на уроке. — И тут твердо решаю: — Если он и не кулак, то уж наверное подкулачник. Не зря же у него такое красное лицо».

Но от дальнейших раздумий меня отвлекает шумная ватага грузчиков нашей артели и артели Вени Косого.

Я пропускаю их вперед и плетусь рядом с Угрюмым стариком и «Казанской сиротой».

* * *

На лесной пристани нас ждет шаланда № 6, прибывшая ночью. Она низко сидит в воде. Палуба вся заставлена штабелями свежего теса. Пока идут пререкания между нашим Горбачевым и Веней Косым, я брожу по палубе, вдыхая запах свежего теса. Потом, когда раскрывается трюм, лезу вниз. Здесь сыро, пахнет знакомым с детства смолисто-йодистым запахом сосны.

Разгрузка начинается одновременно с палубы и из трюма. Нас, бедняг из «бродячей артели», ставят на носку бревен. Старшому так и не удалось отвоевать тес. Да нам, наверное, и не справиться с ним, нас ведь только восьмеро, а у Вени в артели двадцать шесть человек; носить у него будут двенадцать пар, двое станут на подъемку. Им это хороший заработок, а нашим ведь все равно — ставка.

У козла становятся самые сильные в артели — Шарков и Романтик. Из бокового люка им толкают бревно, они подхватывают его на лету, берут под мышки, волокут на валик козла.

Я работаю в паре с Агаповым. Он сам навязался ко мне в напарники. Или это мне показалось? Первые три бревна нам попадаются с верхних рядов, сухие и не очень толстые: говорят — подтоварник. Мы чуть ли не бегом относим их на берег. Вернувшись, я вижу, что из люка выползает бревно-страшилище: толстое, мокрое, с ободранной и обвисшей корой.

— Берите втроем или вчетвером! — кричит нам Романтик.

— Да, чушка здоровая, ребятка, — тянет «Казанская сирота».

— Ничего, — отвечает Агапов, поправляет подушку на плече и лезет под бревно.

Я следую его примеру. У Агапова вершина, у меня комель. Но я этому не придаю значения.

— Взяли? — спрашивает Агапов и поднимает свой конец.

Я подпираю бревно плечом, но оно не отрывается от валика. Что за черт!

— Ну? — говорит Агапов.

Я делаю еще одну попытку и снова неудачно. Но тут из люка лезет новое бревно, к нему бросаются Шарков и Романтик, и я вынужден освободить валик. Я закрываю глаза, собираюсь с силой — и поднимаю бревно. Оно сразу же придавливает меня книзу. Но я делаю шаг, потому что шаг уже сделал Агапов.

Чтобы не зареветь на всю пристань от боли в плече, я с такой силой кусаю губы, что сразу чувствую во рту солоноватый привкус крови. И тут перед моими глазами с бешеной силой, точно схваченные за хвост, начинают вращаться синие, красные, зеленые кометы. Потом — искры сыплются из глаз, фонтаны искр!

Я чувствую, что бревно сползает с моего плеча. Я накреняюсь влево, упершись правой рукой в бок. Но мокрое, скользкое бревно делает свое дело, перевешивает вправо, как на чашах весов.

Что же делать? .. Я понимаю, что если уроню бревно, то другим концом, вершиной, оно ударит Агапова по голове, снесет ему половину черепа.

Я снова накреняюсь влево, пытаюсь поверху обхватить бревно двумя руками. Но пальцы, судорожно сцепившись на мгновение, начинают разжиматься, и бревно снова сползает с плеча.

Иду я мелкими шажками, ничего теперь уж не соображая, в ожидании неминуемой катастрофы. У меня так стиснуты зубы, что я не могу разжать рта — предупредить Агапова.

А в помутневшем от боли мире мне видится

черт знает что. Штабеля леса, сложенные по всей огромной прибрежной территории, вдруг поднимаются со своих мест и летят в голубое небо. Пляшет фамилия бывшего лесоторговца Адамова, аршинными буквами написанная на заборе. Потом, точно рассыпанные кубики, буквы начинают плясать каждая в отдельности.

И тут происходит чудо. Бревно, которое я несу, согнувшись в три погибели, отделяется от моего плеча. Я останавливаюсь, в какое-то мгновение ничего не понимая. И только выпрямившись, придя в себя, вижу, что Агапов идет в паре с Романтиком.

Когда тот успел прибежать и зайти под бревно, остается для меня тайной.

Рядом со мной стоят старики Глухонемой и Угрюмый. Качают головой.

Мимо быстрым шагом, с бревном на плече проходят Киселев и Чепурной.

Чепурной кричит мне:

— Кто же, дурак, лезет под комель?

«С легким паром» гогочет:

— Пусть, гад, сам до всего доходит. — Хмыкает: «Ку-у-у-ла-а-ак!»

Глухонемой старик при этих словах как-то нехорошо смотрит на меня и уходит, припадая на правую ногу. За ним семенит Угрюмый старик.

Немного погодя я плетусь за ними, вновь готовый зареветь от невыносимой боли.

«Не сломал ли я себе ключицу?» — со страхом думаю я, осторожно ощупывая плечо.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

— Ну, ну, вставай! Пора на работу! — то и дело я слышу над собою голоса. Кто дергает меня за ногу, кто за руку, кто трясет за плечо.

Я пытаюсь раскрыть глаза, но это удается мне с трудом, веки кажутся слипшимися, я сразу же зажмуриваюсь от ослепительного света электрической лампочки. Опускаю руку под топчан, нащупываю сапоги. Нет, они на месте. Никто их не украл.

Все чаще и чаще хлопают двери барака. Потом — наступает полная тишина.

И снова я впадаю в забытье.

Видимо, я сплю долго, потому что, когда открываю глаза, лампочка уже погашена и в окна светит раскаленное солнце. Наверное, около десяти утра.

Я пытаюсь шевельнуть рукой, но рука лежит поверх одеяла, как плеть. Я пытаюсь повернуть голову, но это вызывает такую острую боль в шее, что я готов зареветь. Я хочу согнуть колено, но нога не гнется.

Я чувствую, как лоб у меня покрывается холодным потом: «А вдруг отнялись руки и ноги?» И зажмуриваю глаза.

— Что, недужится, парень?

Надо мною склоняется тетя Варвара.

— Не знаю, что со мной, — говорю я. — Видимо, отнялись руки и ноги.

— С чего бы это? — Она кладет руку мне на лоб. — Нет, жара никакого. А не надорвался ли ты, парень, на работе? С непривычки ведь можно и надорваться. Это часто бывает с новичками. Много ли вчера перетаскал всякого груза?

— Ой, много, тетя Варвара. Одних бревен больше сотни.

— Ну, ничего, несколько дней поломает, а там и отпустит. — Она убирает свою тяжелую, как утюг, ладонь. — Правда, иногда и не отпускает. Тогда приходится бросать эту проклятую работу. Многие потому и уходят из артели-то. Ну, может, бог даст, косточки твои окрепнут и перестанут болеть. Спи! А я тут малость приберу.

Она прикрывает мне лицо одеялом, точно покойнику, начинает из чайника набирать в рот воду и брызгать на пол. Потом метет, подняв такую пыль, что, даже прикрытый одеялом, я начинаю задыхаться. Я хочу сказать, чтобы она раскрыла окно, но мне не шевельнуть языком. Я снова засыпаю, точно проваливаюсь в бездну.

Просыпаюсь я через некоторое время, и опять в холодном поту.

«Справлюсь ли я с работой докера? Окрепнут ли мои косточки и перестанут болеть, как говорит тетя Варвара, или же придется уйти из бродячей артели? Не останусь ли я к тому же калекой? Что тогда будут делать ребята из нашей «железной четверки» — Виктор, Лариса, Сашко — без меня? Я без них? Как же тогда мировая революция?»

Думы, думы мучают меня, не дают покоя.

Да, вся вторая половина мая пролетела в каком-то лихорадочном угаре проводов и расставаний.

Многие из выпускников нашего класса уехали за это время из Баку. Редко кого теперь встретишь на улице. Все устремились в Москву и Ленинград. Все хотят стать инженерами.

Как это ни грустно, распалась и наша «четверка». А кто бы это мог предположить еще совсем недавно? Правда, распалась она по нашей, а не по чьей-то злой воле.

Первой уехала в Москву Лариса. У нее там живет тетка, сестра отца, когда-то известная балерина Мария Пржиемская. Чтобы Лариса не замерзла от сильных морозов, мы ей в складчину купили валенки, которые когда-то и каким-то чудом большой партией были завезены в Баку.

Ларисе мы наказали поступить в институт иностранных языков. В последних, восьмом и девятом, классах она, на удивление всем, с поразительным упорством занималась немецким. У нее хорошие способности к изучению языков, и ее, конечно, легко могут принять в институт. К тому же, говорят, желающих поступить в этот институт не так уж много.

Знание Ларисой немецкого, конечно, очень нам поможет, когда мы попадем в Германию или Англию и там придется поднять рабочий класс на борьбу с капитализмом. Хотя рабочие поймут нас и так: все решит рабочая солидарность.

А для этого надо, чтобы мы прежде всего сами стали рабочими: Виктор — металлистом, Сашко — шахтером, я — докером.

Кто у них там, на Западе, в числе первых поднимает забастовки, устраивает стачки? Металлисты, докеры, шахтеры! К ним и придется идти. Мы крепко сожмем кулаки над головой, скажем: «Рот фронт!» — и это решит успех дела, буржуям дадут по шапке.

Вслед за Ларисой уехал в Донбасс наш Сашко. Он нашел там каких-то своих дальних родственников. Я уже успел получить от него короткое письмо. Его приняли на шахту. Пока он гоняет вагонетки.

Неделю назад уехал и Виктор. Он — в Ленинград, к двоюродному брату, инженеру. Тот давно обещал устроить его на завод. Конечно, Виктор скоро станет квалифицированным слесарем. Ему не привыкать держать в руке напильник, зубило или молоток. Одних кастрюль и чайников сколько он запаял у нас во дворе! Сколько разных ключей выпилил!..

Лишь мне пришлось остаться в Баку, поступить в порт. Я должен стать докером то есть грузчиком, по-местному амбалом.

* * *

— Что, парень-то, не полегчало тебе? — раздается голос тети Варвары; потом появляется она сама. Садится на край топчана.

— Нет, — говорю я, — не полегчало. Все тело болит. Как будто бы меня колотили палками.

— Да, бревна таскать — не мед пить! — Она добродушно смеется. — А ведь уже полдень! Надо бы тебе что-нибудь пожевать. Так ты с голоду помрешь. Не принести ли тебе горохового супа-то? Правда, третьего дня варила.

Она уходит и вскоре возвращается с закопченным котелком. Из кармана достает деревянную ложку, протягивает мне:

— Похлебай.

Я ставлю котелок на постель, приподнимаюсь на локте и начинаю жадно есть. Оказывается, я очень голоден.

— Ложку-то не проглоти! — Тете Варваре, видимо, скучно одной в безлюдном бараке и страсть как хочется поговорить. — Есть ли у тебя родные? На Кавказе родился или где? Чего не пошел на другую работу-то?

Я на минуту оставляю ложку в холодном супе. Смотрю в окно. Как ей объяснить про мировую революцию?

В это время дверь осторожно раскрывается: «Казанская сирота»! Минуту он стоит неподвижно. Видимо, резок переход от залитой солнцем улицы к полумраку, царящему в бараке. Водя рукою перед собой, короткими шажками он идет по проходу между топчанов. Судя по всему, он нас не видит.

Он стелет на стол платок, вынутый из-под подушки, и опрокидывает рукавицу, полную рису, потом — вторую. Становится на цыпочки — не дотянуться! — и выворачивает карманы брюк — тоже с рисом. Потом нагибается над столом и высыпает рис из нагрудных карманов спецовки. Ставит ногу на стол, развязывает тесемки на кальсонах — и оттуда сыплется рис!.. Снимает резинки с запястья — рис вываливается из набухших рукавов. Расстегивает пояс, приподнимает рубаху — и там рис!

Затаив дыхание, я переглядываюсь с тетей Варварой. Она только тяжело вздыхает.

Насторожившись, как зверь, Шарков широко раздутыми ноздрями хватает воздух, близоруко щурится вокруг, но, не обнаружив опасности, завязывает платок и прячет его в сундучок.

Сунув ключ в потайной карман на поясе, он идет к двери. Но не успевает дверь за ним захлопнуться, как вновь с грохотом раскрывается. Входит Киселев. Дышит учащенно, лицо предельно багровое. Идет бешеным шагом, будто кто за ним гонится. Видимо, артель сегодня работает на одной из ближайших пристаней, он, как и Шарков, заскочил в обеденный перерыв.

Повторяется та же сцена с рисом. Только Киселев высыпает его в наволочку. Рису у него, должно быть, килограмма три или четыре.

Мы встречаемся взглядами.

Я спрашиваю:

— Зачем вам столько рису?

Он смотрит на меня ненавидяще:

— Ты что — с луны свалился?

— Нет, не с луны.

— Деньги надоть, стало быть.

— А рис ворованый?

— Нонче и рваных мешков хватало. — И он взрывается: — А ты, гад, не воруешь?.. Живешь святым духом?..

— Воровать еще не научился, — говорю я.

— «Не научился»! — передразнивает он. — Научишься! Здеся тебе не только кости пообломают!

— Не лайся, — говорит ему тетя Варвара. — Чем лаяться-то, ты лучше сколоти стол и скамейки. Досок я тебе напасла. Народ бы сидел вечерами-то во дворе, не маялся в бараках. Да козла бы забивали там. А то болит голова-то от стукотни.

— Ла-а-адно! — Киселев открывает чемоданчик, кидает туда наволочку с рисом, ударом ноги отшвыривает его под топчан.

— «Ладно, ладно!» — теперь передразнивает его тетя Варвара. — Третий месяц все «ладно».

Киселев уходит, хлопнув дверью.

— Все тут копят деньги, — деликатно объясняет мне поступок Киселева тетя Варвара, пока я доедаю суп. — Ради денег и работают-то. — Она вытаскивает из-за пояса тряпку, смахивает со стола зерна риса. — Не дали, черти, поговорить. Ладно, в другой раз как-нибудь. А пока поспи, парень, я воды наношу-то. — И она уходит вразвалочку.

Я снова засыпаю.

Мне снится сон, который вот уже второй или третий год преследует меня. Какая-то неведомая страна. Неведомый город. Улицы, запруженные забастовщиками. Тысячные толпы с плакатами и транспарантами.

Полицейские с дубинками и шашками разгоняют демонстрацию. Люди разбегаются по переулкам, прячутся в воротах домов.

Падает сраженный пулей знаменосец.

К нему бежит девушка.

Но я опережаю ее, поднимаю знамя и взбираюсь на баррикаду. За мною устремляются другие.

— Что с тобою, парень-то? Что кричишь? — слышу я сквозь сон знакомый голос.

— Знамя, знамя хотели отнять у меня полицейские! — Задыхаясь, я вскакиваю в постели. Лоб у меня в поту.

Склонившись надо мною, тетя Варвара качает головой, говорит:

— Доктора, пожалуй, надо позвать-то... Не горячка ли у тебя, парень?

Но голова у меня снова валится на подушку.

Я не знаю, сколько проходит времени, но просыпаюсь я уже от криков тети Варвары.

— Что, что случилось? — спрашиваю я, садясь в постели.

— А не прокараулил ты, парень, сапоги-то свои?.. Чего-то я их у тебя не вижу.

Я опускаю руку, шарю под топчаном. Да, сапог нет. Я заглядываю под топчан. Сапог и на самом деле нет.

— Сапоги украли! — в ужасе кричу я.

— Украли, украли, черти-то! — кричит и тетя Варвара, всплескивая руками. — Ай да мазурик пошел народ...

— Кто же это мог сделать, тетя Варвара? — спрашиваю я с мольбой, точно она это может знать. Опускаю ноги на пол.

— Кто, кто! — сердито выкрикивает она. — Пока ты спал, тут перебывало много народу. Работают-то наши сезоннички рядом, на железнодорожной пристани. Ах, зря-то я бегала в магазин, обед тебе хотела сготовить!.. — сокрушается она, хлопая себя по бокам.

— Сапоги украли! — с ужасом произношу я, забыв про все свои боли, и пытаюсь одеться.

Но тетя Варвара выхватывает у меня из рук штаны, швыряет их на соседний топчан, а самого снова укладывает в постель.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Чуть ли не каждый, проходя мимо моего топчана, спрашивает:

— Ну, как себя чувствуешь, парень?

— Лучше, ходить уже могу, — отвечаю я, — хотя еще сильно ломит.

— А сапоги свои нашел?

— Нет, — чуть не плача, говорю я.

— И нас на первых порах ломало. Пройдет! Все проходит в жизни, и это пройдет. А сапоги себе купишь, не горюй. Кто-нибудь чужой унес, свои не могли.

— Клин клином вышибают. Еще день полежи — потом выходи на работу, — говорит Шарков. — А на сапоги мы заработаем на шабашке. Со мною будешь работать! «Казанская сирота» тебя в обиду не даст.

— Хорошо, — соглашаюсь я.

— А пока тебе нечего делать, почисти-ка рису. — Он кладет мне на топчан увесистый мешок и рядом пустую наволочку.

Я беру горсть рису и начинаю его перебирать. Но делаю эту работу механически. Сапоги не выходят из головы. Сносу бы им не было!

Я слышу со всех сторон добрые слова от этих наработавшихся, усталых людей. Многие из них меня не знают. Потому-то я себя казню за то, что поругался с Киселевым, обидел его. Ворованным ли был рис, который он принес с работы? Наверное, нет. Почему? Да потому, что все возвращаются с рисом. Не могут же все быть ворами?

Расстелив на столе газеты, полотенца, платки, грузчики, наши и Вени Косого, с шутками и прибаутками опорожняют свои карманы и рукавицы. Потом садятся и, как золотоискатели, выбирают по зернышку рис из всякого мусора, промывают его в котелке. Сор поднимается на поверхность, а рис, чистенький, беленький, ложится на дно, как золото.

Вскоре все гремят котелками, начинают готовить ужин. То тут, то там сходятся в компанию по два, по три человека.

Глухонемой и Угрюмый готовят вместе, у них один котелок. Угрюмый достает кулечек с изюмом, перебирает его на ладони, кричит на ухо Глухонемому:

— Сварим кавказский плов. Кушал когда-нибудь? По-вашему будет рисовая каша с изюмом. Можно прибавить туда еще кураги, каштана, кейсы. — Машет рукой. — Ни черта не слышит!

Глухонемой что-то показывает на пальцах, на что Угрюмый отвечает:

— Народ не дурак! Вкусно! — и чмокает губами.

Из разговоров грузчиков я узнаю, что сегодня и наши, и артель Вени Косого работали на «Феде Губанове», что пароход пришел из Персии, что рису там до дури, хватит и на ночную

разгрузку двум другим артелям. Рис хороший, разваристый, знаменитый «акулинский».

Только один Ариф Шарков не принимает никакого участия ни в разговорах, ни в стряпне. У «Казанской сироты» чрезвычайно деловой вид, он куда-то торопится.

Переодевшись, он берет сумку-зембиль, кладет туда наволочку с очищенным мною рисом, какие-то еще припасы в кульках.

Ему желают счастливого «похода». Куда, зачем? Не знаю.

Во время ужина является «С легким паром». Все уже наелись до отвала, но каши в котелках еще хватает. Я давно заметил: сытый человек — добрый человек. Отовсюду ему кричат:

— «С легким паром», Киселев! Не хочешь ли каши?

— Не хочу! — резко отвечает он.

— А кавказского плова с изюмом?

— Не хочу!

— Что ты не в настроении?

Я догадываюсь, в чем дело, снова казню себя.

Киселев нетерпеливо бросает тете Варваре:

— Мать, тащи-ка свои доски! Сколочу тебе стол. И будя приставать!

Из-под топчана он достает мешок с инструментом, вываливает из него топор и ручную пилу, коробку с гвоздями.

А за столом уже распивают чаи. Белый ведерный чайник кочует из рук в руки, с одного конца стола на другой.

Вскоре все идут во двор, посидеть и покурить. Выхожу и я, сажусь в сторонке на бревнах, сваленных к стене.

Киселев уже мастерит стол. Топор у него кажется сросшимся с рукой. Каждый удар ложится точно.

— Жил бы ты в колхозе — цены б тебе не было! Мастеровые вот как там нужны! — Чепурной проводит ребром ладони по горлу.

— Ма-астеро-вые!.. — Киселев с размаха вгоняет топор в бревно, лезет за кисетом, садится рядом с Чепурным. — Мне, вишь ли, малость деньжат поднакопить!..

— И что б ты сделал? — сплевывая, спрашивает Чепурной.

— А захватил бы женку с детьми — и айда в Сибирь!.. Рублев бы мне сто на дорогу и сто на конягу! — Он закуривает.

— А много ты уже поднакопил? — Закрыв левый глаз, Чепурной правым нацеливается в него.

— Ты поп, что ли? Ишь ты, выложи ему все, как на исповеди! — Киселев блаженно улыбается. — На дорогу, считай, кой-что собрал. Теперя надоть на конягу. — Он со злостью косится в мою сторону. — Соберешь тут, держи карман шире! — И жадно затягивается цигаркой.

— За что боролись, на то и напоролись? — Чепурной хихикает, закрыв и правый глаз.

— А ты советску власть не трожь, друг-приятель! — Киселев отстраняется от Чепурного. — У меня вона отец за эту саму власть голову сложил в гражданскую. Тута, братец ты мой, дело в другом, — загадочно произносит он.

Вокруг с интересом прислушиваются к их разговору. Даже Глухонемой приложил руку к уху. Вот чудак!

Хихикая, Чепурной откидывается назад:

— Головокружение от успехов, что ли?

— Нет, ищи-ка корень поглыбже!..

— Что же это может быть? — гадает Чепурной.

— Должон знать!.. Кто колхозы организует на деревне?.. Может, думаешь, повсюду сидят сурьезные партейные и ученые люди?.. Хватает деревенских дурачков вроде тебя и меня!..

Вокруг хохочут: нравятся откровенные суждения Киселева. А Романтик чуть не валится с бревна. Улыбается даже Глухонемой старик. Это так удивительно! Чепурной своими быстрыми глазками стреляет по сторонам. Нет, Киселеву никто не собирается возражать.

А «С легким паром» уже с ожесточением продолжает:

— Возьми хошь нашего уполномоченного — Алешку Зыкова. Знаю этого дурошлепа сызмальства, вот таким сопляком. А он — начальничек! Орет на всех! Не моги ему перечить. Чуть что — он хвать леворвер. Грозит, ежели не пойдешь в колхоз, сослать в тундру — слыхал про такое райское местечко?.. — Киселев сурово сжимает губы. — Ну, я его по старой дружбе послал кой-куда... Не тяни силком в артель!.. А он — на стенку лезет! Ему, вишь ли, надоть выпередиться, положенные ему проценты переплюнуть. Не дай бог — Лешка будет последним в районе. Парень-то он завсегда был форсистый. А на другого ему плевать. Грозится мне, старому дружку: «Выкину на улицу!» — «А иешто ты строил этот дом, Алеша?» — спрашиваю. «А мне плевать, кто строил!» — говорит. «Силен ты в своих доводах, Алеша» — говорю ему. «А у меня один довод!» — отвечает он и хлоп себя по кобуре...

— Ну и что дальше вышло?

— Да вскорости женка у меня, дура, без моего ведома лошадь и коровенку свела в колхоз. Испугалась Зыкова, запишет, черт, на высылку. Он, считай, полдеревни записал!.. Ну, надавал я своей Настёнке тумаков, шапку в охапку, и поминай как меня звали. Неужто позволю командовать собою? Тем паче Алешке Зыкову?.. Вместе со мною уехало еще человек двадцать, а можа, и того поболее. Махнул я с верховья, считай, до самой Астрахани. А там на плотах и до низовья Волги добрался. Привольные места! Только от комарья житья нет. Ну, порыбачил с месяц, потягал рыбацкой лямки, узнал, почем и там фунт лиха. И зараз торбу за плечо — подался сюда. Из дому, вишь ли, я

кой-какой инструментишко прихватил. Думаю: «Может, где посчастливится маленько подработать. Аль на строительство какое возьмут».

Опять Глухонемой старик делает вид, что слушает Киселева внимательнее всех. Даже улыбается, качает головой, шепчет что-то себе под нос. Неужели тоже беглец из деревни? У него вид мастерового.

— И у нас человек тридцать уехало из деревни, — вступает в разговор сидящий рядом с Чепурным грузчик из артели Веня Косого по кличке «Конопатый». У него насупленные мохнатые брови, квадратная челюсть, тяжелые плечи. Во всем его облике есть что-то гориллообразное. — Остались одни бабы, детишки и старики. Куда их денешь? Надо прежде самому устроиться в городе, потом тащить их сюда. Денежки на все нужны! Ох, эти денежки!..

— Да, сломали спину хлеборобу, — тянет угрюмо Чепурной.

— Насчет леса и щепок слышал поговорку? — Романтик опускает кулак на плечо Чепурного. — Коллективизация, брат, дело большое, государственное. И тут, видать, без щепы не обойтись.

— Дурак ты, товарищ Рамантек! А книжки читаешь! — огрызается тот. — Слышал, что рассказывает Киселев про таловского дровосека — Алешку Зыкова?

— Слышал.

Киселев охотно поддерживает Чепурного:

— Другому дай-кось топор в руки — весь лес переведет в щепу! Деревца не оставит! — Он гасит цигарку и начинает тесать доску. Мне кажется, что он уже выключился из разговора.

А перебранка продолжается. Конопатый встает и чуть ли не тычет кулаком в самое лицо Романтика. Тот сидит, привалившись к стене, и с улыбкой смотрит на него.

— Ты грамотей, должон знать, что пролетарский писатель Максим Горький говорит про человека! Вона какие золотые слова мне вычитали из его книги... Названья не помню, сам-то я малограмотный...

— Знаю! — добродушно отмахивается от него Романтик. Удивительно он спокойный человек. И симпатичный! Всегда у него закатанные до локтя рукава. Открытый ворот синей сатиновой косоворотки. Дружелюбный взгляд синих глаз.

— Нет, не знаешь! — угрюмо петушится Конопатый, размахивая кулачищами. — Человек — это... это... — Он встречается со мною взглядом и, точно поперхнувшись, замолкает, весь как-то съежившись, вобрав голову в плечи.

«С чего бы это?.. Забыл горьковские слова?..»

— Звучит гордо, что ли? — нараспев спрашивает Романтик. Но Конопатый идет, садится на свое место. — А я знаю другие слова нашего пролетарского писателя. На всех плакатах написаны! Если враг не сдается — его уничтожают!

— Так то он про врага сказал!.. А разве хлебороб — враг Советской власти? — накидывается на него Чепурной. У него вид хищной птицы.

— Хлебороб-кулак — да! Хотя хлебороб бывает разный: кулак, середняк, бедняк.

— Так то про кулака! А разве у нас больше кулаков, чем середняков?.. Скажешь — кулаков?.. У нас вон половину станицы выслали. Все враги? — не отстает от него Чепурной.

— Одно я знаю: всему голова рабочий класс, он все и рассудит! — машет рукой Романтик.

— А хлебороб, по-твоему, — задница, товарищ Рамантек?.. Ему и рассуждать не положено? — снова накидывается на него Чепурной. Мне кажется: он сейчас долбанет его своим крючковатым носом.

— А ну вас ко всем чертям! — Романтик встает. — Вас много, я — один. Не переспоришь! Пойду-ка я лучше почитаю. — Сунув руки в карманы брюк, он неторопливо уходит.

— Тогда, Романтюк, не суйся в драку! — Киселев скалит зубы. — Голову сломишь.

Став на колени, он раскладывает доски для столешницы и прилаживает к ним поперечные планки.

Чепурной пытается завязать разговор то с одним, то с другим. Пристает с расспросами к Конопатому и даже к Глухонемому старику. Но никто ему не отвечает. Глухонемой похлопывает себя по ушам: мол, не слышу. Нет ни у кого охоты ни спорить, ни поддерживать с Чепурным разговор. И без того, я вижу, всем тошно.

В наступившей тишине слышно только тюканье топора.

ГЛАВА ПЯТАЯ

— Ну, как твои дела? — спрашивает меня Горбачев во время перекура.

— Хорошо. Обидно только: три дня пролежал.

— А сапоги не нашел?

— Нет.

— Да, жалко, добрые сапоги были! — Он закидывает руки за спину. — Будем считать — экзамен ты выдержал. Но вот метрика, говорят, у тебя не в порядке?

— Нет, она в порядке, только вот... — Я лезу в карман, протягиваю ему метрику.

Он читает и вздыхает:

— Да, годков маловато. До полных восемнадцати не дотянул. Что же делать с тобой? — Он оглядывается по сторонам, зовет Агапова.

Тот подходит вразвалочку.

Старшой протягивает ему метрику.

— Надо парню помочь устроиться на работу. Прибавь-ка ему пару годков. Ты это хорошо умеешь. А то не оформят в Морагентстве.

Агапов с наигранным возмущением возвращает ему метрику.

— Ты что, с ума сошел, старшой? Может, он легавый?

— Да нет, не похоже. Не так ли?

— Конечно, — охотно соглашаюсь я.

— Ну вот, видишь! — И он ласково треплет меня по плечу. — К тому же у парня сапоги украли.

— Четверку на двойку переделать не трудно. Но что же получается, старшой? — Агапов с нескрываемой злостью смотрит на меня. — Получается подлог! Самый настоящий подлог! — Он нажимает на это слово.

Я опускаю голову. Хорошо бы провалиться сквозь землю! «Он прав, он прав, чистый подлог».

Старшой пытается перевести разговор на шутку:

— Ну, если б в ущерб государству — тогда бы, конечно, другое дело. Но тут ведь никакой корысти!

— Это не меняет дела! — отвечает Агапов. — Подлог есть подлог. А потом — хорошо ли, старшой, трудовую жизнь начинать с подлога? С обмана?.. Ты разве так начинал? Я разве так начинал, хотя и работали на хозяина?.. Нет, мы трудились честно, на своем горбу все испытали. Не то что нынешняя молодежь.

— Вот и новенький так начинает — на своем, а не на чужом горбу! — Старшой сердится и багровеет. Чувствую, что ему явно не нравится затеянный Агаповым разговор.

Но Агапов продолжает, не обращая на него внимания:

— Исполнилось бы восемнадцать — тогда милости просим, приходи и работай, без всяких подлогов и подделок! — Он снова злобно смотрит на меня.

Я готов схватить метрику, бежать и никогда больше не показываться в районе порта. «Он прав, он прав. Как это раньше я не подумал?»

Но старшой меняет тему разговора. Смотрит на мои ноги, говорит:

— Зря босым бегаешь. Теперь еще наколешь себе ноги.

— На днях куплю сандалии. С первых же денег!.. Правда, я хотел магарыч устроить...

— С магарычом не спеши. Купи сандалии. Или ботинки какие попроще. Сходи на Кубинку.

Подходит Киселев. Видимо, он уже накурился, скучно одному, хочется поговорить.

— О чем спор у вас? — Глазки у него горят от любопытства.

— Да ты вот сам посуди, Киселев, — обращается к нему Агапов за поддержкой. — Старшой просит исправить новенькому метрику, прибавить...

Но Киселев не дает ему договорить.

— Ну и правильно. Нешто ему первому подделываешь документ?.. Может, парню исть нечего?.. Потом, у него сапоги украли... Понимать надо!.. Нэпмачам и куркулям лепишь справки — сходит...

Агапов от изумления столбенеет. Он часто-часто мигает, точно его двинули по загривку. Такого, видимо, он не ожидал. Но скоро приходит в себя.

— Ты что, «С легким паром», сошел с ума?

— Сошел, стало быть, — усмехается тот.

Поведение Киселева неожиданно и для меня. Не раз ведь мы с ним ругались!.. Этим он вызывает меня на откровенность, я готов простить ему все обиды.

— Не в деньгах даже дело, — говорю я, боясь взглянуть ему в глаза. — Мне надо работать, нужен опыт работы в порту.

— Зачем? — настороженно спрашивает старшой. «Опыт» его чем-то пугает.

Тут у меня невольно срывается с языка:

— Мне ведь скоро ехать... (Хорошо, что я вовремя прикусил язык, не сказал: «В Германию или Англию».)

— Куда, куда, куда?..

Но я уже владею собой, начинаю запутывать следы.

— Ну, сперва в Ленинград, а там будет видно. Газеты читаете? Видите, что делается в Европе?

Они втроем наклоняют ко мне головы и с удивлением рассматривают меня.

— Мне здесь надо поработать грузчиком, чтобы там на первых порах устроиться докером.

— Где «там»? — спрашивает старшой.

— Ну, там... — Я делаю неопределенный жест.

— А кто такой «докер»?

— Докер?.. Так у них называют грузчиков, портовых рабочих.

Снова они втроем наклоняют ко мне головы. Вижу — ничего не понимают.

— И зачем тебе... докером? — спрашивает старшой. — В матросы, что ли, хочешь поступить? Поплавать по морям?

Я киваю головой, чтобы дальше не запутаться.

Старшой облегченно вздыхает.

— А по-ихнему ты хоть говоришь?

— Немного знаю немецкий.

— Скажи пожалуйста! — Агапов всплескивает руками. — А я чуть было не угробил этого морского волка.

— А ты, гад, радуешься — сунул парня под комель? Нешто так можно? — налетает на него Киселев. «Гад», видимо, у него любимое слово.

— Ну, ну! — отступает от него Агапов и обращается к старшому: — Когда несли бревно, я все время был настороже. Все ждал: вот-вот сбросит он свой конец — тогда сброшу и я. Но его вовремя подменил Романтик.

— Рискованно делать такие вещи, — стро-

го говорит старшой. — Голову могло бы оторвать парию, придавить бревном. Кто б за него отвечал?

— Старшой! — хохочет Киселев. — А то разн иет?

— То-то что старшой.

— Но это было вериым испытанием для него! — Агапов тоже хохочет, ио — от удовольствия. — Пусть зиает — не к теще пришел иа блииы.

Я подимаю голову, смотрю иа Агапова. «Значит, ои созиательно сунул меия под комель?.. Вот сволочь!.. Интересио, почему ие хочет, чтобы я работал в артели? Я почувствовал это в первый же день, еще на железнодорожиой пристаии».

— Ладио уж, так и быть, — говорит Агапов, беря у старшого мою метрику. — Но учти, парень, это будет стонть недешево.

— Ои заплатит с получки, — говорит старшой.

— Нет уж, лучше пусть остается моим должииком. — И Агапов чему-то ухмыляется.

Вот тут-то я взрываюсь! Бросаюсь к Агапову, хочу вырвать метрику у иего из рук. Но он ловко отстраияется н сует ее в кармаи.

— Гордый! — Горбачев смеется и качает головой.

— Все гордые! Пока мордой ие ударят об стол! — Агапов подмигивает мие и уходит вразвалочку. Оборачнвается, говорит: — Считай, дело твое в шляпе. Можешь ехать хоть на край света.

Я ухожу, точно после бани. Спииа у меия мокрая от пота. Хорошо бы укрыться в теиь. И я иду в склад, где мы работаем.

Здесь цемеитый пол. Сквозияк. Прохладио.

Я ложусь на мешки с мукой. Пытаюсь собраться с мыслями.

Но вбегает Шарков, кричит:

— На «Ахуидов» пришлн ударники! Гаджиев будет разгружать рис! Пошлн, посмотрнм, ребятка!

Со свету ои ничего не видит в полумраке склада. А то бы заметил, что, кроме меня, здесь ннкого.

Собраться с мыслями мие ие удается. Теперь не дает покоя: «А как работают ударникн?»

Я встаю и выхожу иа пристань. Удариики артели Гаджиева уже собрались иа палубе «Ахундова». Толпятся там н иаши.

Да, это знамеиитая артель. О ией только и разговору в порту. Правда, и другнх хорошнх артелей здесь хватает. Особенио отличаются еще четвертая, пятая н седьмая артели. Я о них и раиьше слышал. Все оин сколочены нз урожеицев Леикоранского района. Там, говорят, народ крепкий н выиосливый. Хорошо работают н персидскне артелн.

Но артель Гаджнева украшает еще сам старшой. Раза два я вндел его фото в газете. Крепкнй старнк!

Вот матросы открыли трюмный люк, сложили в сторону лючины. Второй помощник капитана исполиил все формальности по документацин, и в трюм полезли подъемщики. Мужики здоровые, вроде иашего Шаркова. Одеты оии иесколько ииаче, чем остальные грузчики артели. На подъемщиках короткие брезентовые куртки, оторочеииые красиой каймой; короткие, чуть ииже колеи, парусииовые брючкн; на поясе у каждого — лихо затяиутый красиый кушак. Видимо, в артели Гаджиева подъемщикам придается особое зиачеиие.

Вот сверху им спустили сходию, подъемщики поставили ее под острым углом градусов в 15—20, высоко подпрыгивая, пробежались по ией вверх и вниз, проверили устойчивость. Потом в трюме расчистили вокруг себя рабочее место, подняли первый мешок с рисом, поставили его иа попа.

Почнн делает сам Гаджнев — старшой. Он и по возрасту, наверное, самый старший в артели. У иего уже седеющие виски, ои чуть горбится, ио крепко стоит иа иогах, походка еще цепкая.

Сбросив шапку, саидалии, завериув брюки до колен, Гаджиев надевает палан и с торжествеиной медлительиостью спускается в трюм. На палубе грузчики его артели стаиовятся вокруг люка, с любопытством смотрят вииз.

Старшой, видимо, желает подъемщикам удачи в работе, говорит нм что-то доброе и приятиое, потому что те в это время благодарят его, кивают головой. Потом — Гаджиев похлопывает рукой по мешку, что-то еще говорит подъемщикам, но так тихо, что его совсем не слышио иаверху, и вдруг с криком «Ялла!» рывком подставляет спииу.

— Ялла! — кричат подъемщики и навваливают ему мешок риса весом в шесть пудов.

Старшой выпрямляется, насколько это возможно, и с той же торжественной медлительностью подиимается по сходне.

С криком: «Ялла, ялла, ялла!» — грузчики встречают его иа палубе, и тут я вижу, как преображаются нх лица, расплываясь в улыбку. Толкая друг друга, со смехом, шуткой, оин торопятся спуститься в трюм.

А Гаджиев уже сошел по трапу иа прнстаиь. Тут ои убыстряет шаг. Но его уже иагоняют первые грузчики с мешками иа спиие. Тогда он еще больше убыстряет шаг н с крнком «Ялла, ялла, ялла!» бежит пружинящей походкой.

Грузчики бегут за ннм, ио ие могут догиать.

А старшой сброснл мешок в складе и бежит обратно, подзадоривая встречных грузчиков все тем же криком: «Ялла, ялла, ялла!»

Те тоже кричат: «Ялла, ялла, ялла!»

Став в очередь, Гаджнев берет второй мешок. Теперь ои бежит, едва ступив иа палубу. Бежит по трапу. Бежнт по пристани.

За ним бегут грузчики. И все кричат: «Ялла, ялла, ялла!» И все пытаются его догнать.

Киселев переглядывается с Горбачевым.

— Нешто мы так не могем? — спрашивает он.

Тот иронически смотрит на него.

— Тоже мне ударничек, — и отворачивается. — Надолго ли тебя хватит?

— Надолго!.. А то рази нет? И заработок, глядишь, был бы другой.

— На неделю бы хватило! — Агапов гогочет.

— То-то что на неделю. — Старшой багровеет и закидывает руки за спину. — Это красиво со стороны. А поработаешь часок — потом изойдешь.

— Да, тут на десятом заходе задохнешься, — поддакивает ему Агапов.

— А они не задыхаются! — твердит свое «С легким паром». — Вона как весело бегают. Глядеть любо.

Да, он прав. Удивительно работают грузчики-ударники. Так и хочется подставить спину под мешок и побежать за ними с криком «ялла!».

— Выучка у них другая, — подумав говорит Горбачев. — Неужели, болваны, вы этого не понимаете? — И почему-то сердится. — К тому же у них в артель подобраны грузчики-профессионалы. Любой груз берут! А вы кто?

— Грузчики по несчастью! — Агапов снова гогочет.

Разговор затихает, и мы снова смотрим на ударников. Уже вся артель у них включилась в работу — тридцать или сорок человек. Бегут они по кругу, подзадоривая друг друга все тем же криком: «Ялла, ялла, ялла!»

После четвертого или пятого захода Гаджиев сбрасывает с плеч палан. Он свое дело сделал, ему больше ни к чему носить груз. Да ему и не позволят грузчики. Дорог почин. Теперь артель будет работать в таком ритме весь остаток дня. Может быть, и вечер. Пока не выгрузят рис из трюма. У них закон: начатое дело — заканчивать, как бы долго оно ни продолжалось. На то они и ударники.

Гаджиев поднимает с палубы ведро с водой, держит его на уровне плеч и пьет рокочущими глотками. Мог бы пить из кружки, она стоит рядом, да не пьет: так, видно, приятнее. Вода ручейками стекает по его оголенному животу.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Все это время, после отъезда Виктора в Ленинград, я с нетерпением ждал письма от него. Как ему там живется и работается? Как понравился Ленинград?.. Понравился!.. Смешно сказать!.. Ходит он, наверное, как зачарованный, по широким ленинградским проспектам и не может наглядеться на город. Жаль, что меня там нет! Вдвоем бы нам было куда веселее! Прежде всего мы, конечно, пошли бы смотреть «Аврору». А здорово она тогда бабахнула по Зимнему!.. Обошли бы все залы дворца. Постояли бы на Дворцовой площади, где царь рабочих пострелял в «Кровавое воскресенье». И зачем они послушались этого предателя Гапона?.. Провокатора не разглядели!..

Потом бы пошли в Смольный. Нет, судя по описанию города, это должно быть далеко от Зимнего. Сперва направились бы на Сенатскую площадь. Здесь ведь тоже пролилась кровь — праведная кровь декабристов. А на площади — памятник Петру Первому, Исаакиевский собор. А рядом — Нева, на ее берегах — кругом дворцы...

Да, счастливец! Он может запросто пройтись по Невскому, пойти в Петропавловскую крепость, побывать в порту, куда приходят океанские пароходы из всех стран мира. То-то, воображаю, стоит там шум и гам с утра до вечера!..

Но, раскрыв долгожданное письмо от Виктора, я не нахожу в нем ни слова о Ленинграде. Ни слова и о себе! Лишь в приписке он сообщает, что устроился учеником слесаря на завод. Подробности — в следующий раз.

О чем же он пишет сейчас?

Прежде всего — о суде в Скоттсборо. Решение суда его чрезвычайно возмутило. И правда — есть чем возмутиться! Эти американские судьи совсем обнаглели, они отказались даже пересмотреть дело восьми юношей негров.

Я откладываю письмо. Смотрю в окно. О Ленинграде уже не хочется думать!.. Тут я начинаю понимать Виктора. Но в то же время я не могу взять в толк, как это он, всегда такой проницательный, не догадывается, что американские судьи своим решением на этот раз просто вздумали запугать негритянских юношей, заодно — всех американских негров, а с ними и мировое общественное мнение! Конечно, в последнюю минуту они помилуют юношей! В крайнем случае — посадят в тюрьму. Казнить их на электрическом стуле вряд ли решатся. Это же бесчеловечно! Да ведь и не за что! Это понятно каждому. И судьям, надеюсь, не меньше. Выдуманное дело!

Успокоив себя этими размышлениями, я читаю дальше. Виктор пишет о положении в Германии. Идут уличные бои и демонстрации в Берлине, Гамбурге, Бремене, Касселе.

«А рабочие Гельзенкирхена, правда, молодцы? Они разгромили тридцать продовольственных магазинов, разобрали мостовую и возвели баррикаду. Приехали полицейские, открыли стрельбу, но рабочие забросали их камнями. Оказывается, в борьбе и камни хорошее оружие!

А как тебе нравится их министр Зеверинг? Знаешь, что он сказал недавно на съезде жандармов? «Если вы маленькие кровавые собаки, то я — главная кровавая собака».

А читал ты о борьбе гамбургских докеров?

Прочти, лентяй несчастный. Боюсь, что, как только мы уехали, ты перестал читать газеты. Учти, ты обязательно должен стать докером. Никакие трудности тебя не должны страшить. Докеры — самый боевой народ...»

— Чем опечален-то?.. Что не рад?.. — раздается рядом со мной голос тети Варвары.

— Да веселого мало, — говорю я, поднимая голову. — Вот письмо получил...

— От кого же?

— От товарища. Из Ленинграда.

— Что — болен товарищ-то твой?

— Да нет! — с досадой отвечаю я. И не удерживаюсь: — Положение в Европе неважное.

С минуту, моргая, она непонимающе смотрит на меня.

— В Европе-то?.. А где это Европа твоя?

Я с тоской смотрю на нее. Ну, как объяснить неграмотной старухе? Делаю рукой этакий замысловатый жест:

— Там — где Германия, Франция, Англия, — и жду, когда она уйдет.

— Что-нибудь стряслось там? — К ужасу моему, она присаживается ко мне на топчан. — Не война ли скоро, парень?

— Нет, пока у них много трудностей. Много безработных. В Берлине вот женщины бьют стекла в магазинах...

— Ну, а как живут в Питере-то?.. Очереди там такие же, как у нас в Баку, или поменьше? Слышал: говорят, скоро у нас введут какие-то заборные книжки. Не знаешь — почему заборные-то?

— Не знаю, — отвечаю я, совсем не расположенный к беседе, и продолжаю читать. Может быть, она все же уйдет? Мне очень хочется побыть одному.

Но тетя Варвара с укоризной смотрит на меня.

— А что же тебя интересует, парень?

Я усмехаюсь.

— Мировые проблемы! — И переворачиваю страницу. «Как тебе нравятся события последних дней в Испании? Движение против попов и монахов у них охватывает всю страну, всюду пылают монастыри...»

— Мировые, мировые! — раскачиваясь, сетует тетя Варвара. — А кто о нас, не мировых-то, подумает?

Мне вдруг становится жаль ее, такую темную старуху. Пытаюсь в общих чертах рассказать ей про мировую революцию. Поймет ли она?

Слушает как будто бы внимательно. Потом долго молчит. Что она скажет?

— А ты думаешь, мы уже хорошо живем? Пора о других подумать-то? — Скрестив руки на груди, она тяжело вздыхает. — Ох, парень, сперва у себя дома-то навести надо порядок. Когда у нас будет порядок, люди это и сами увидят, им тоже захочется жить по-хорошему.

— О каком ты порядке, тетя Варвара?

— А вот сходи на двадцать шестую пристань, на холодильник Азрыбтреста, — сам увидишь!.. Я вот побыла там, нагляделась!.. Второй день в такую жару ждут разгрузки «Цюрупа» и «Лев». Ты думаешь — с солью они пришли-то, с бревнами?.. Как бы не так! В трюмах у них свежая белуга для твоей Европы-то, красная рыба, черная икра!

— А почему холодильник не принимает?

— Почему, почему? — сердится тетя Варвара, хлопнув себя по коленям. — Потому что, говорю тебе, порядка нет. Холодильничек-то загружен до самой крыши? Вагоны им не подают вовремя? Куда же деть мороженую рыбу-то?.. Вот свежую и не принимают, и она тухнет. Гору уж навалили ее на пристани! Сторож-то ихний позвал меня, говорит: «Хочешь, Варвара, подарю тебе белугу пудов на двадцать, отродясь ты не видела такую?» И правда, не видела. Что твой слон у Дурова-то в цирке. Посмотрела я на эту зверюгу — морда вот такая, в два обхвата, сама вся лоснится от жира; вкусная, видать, рыба-то, — вздыхает тяжело. — Бери задарма — не надо! — Снова вздыхает. — А хорошо бы ушицы-то белужьей покушать, правда?

Вместо ответа я только чмокаю губами: аппетит у меня в порту становится ужасным.

— А будь у нас порядок, что надо б сделать?.. Вагоны вовремя подать, парень! Ну, а если вагонов-то нет — пустить рыбу в открытую продажу, не дать ей испортиться. Народ бы в один час все расхватал! И людям радость, и государство не в накладе. Я и то своим глупым бабьим умом это хорошо понимаю. А они на что посажены, начальнички-то треста?.. За что им большие денежки-то платят?.. Сторож тоже, на что он глупый, и то сокрушается по протухшей рыбе, говорит, что за три пуда белуги американцы дают трактор, и за пуд икорки дают трактор-то. Вот бы взять эти тракторы-то у них да пустить в наши колхозы!.. — Она треплет меня по плечу и встает. — Так-то, парень. А ты говоришь — мировая революция!

Тут меня черт дернул сказать:

— Ну, это частный случай и ни о чем еще не говорит.

— Что значит — частный? — Тетя Варвара настороженно, но воинственно смотрит на меня.

— Ну, единичный, нехарактерный, — пытаюсь я объяснить ей популярно.

Тогда она снова садится на топчан. Устраивается поудобнее, видимо, надолго.

— А это, по-твоему, тоже «частный случай»-то?.. Вот вчерась я проходила мимо цирка... На углу там институт, что ли, какой... Вижу — выходит оттуда девушка, слезами заливается. Ну, я подошла к ней, кое-как успокоила; ничего себе говорит по-русски, понять-то можно... Так из-за чего она, сердешная, по-твоему, плачет-то? А вот послушай, парень,

Приехала она из Гянджи, учиться поступить. Экзамены вроде бы, по ее рассказу, сдала хорошо, а вот принять — не принимают. Профессор — или кто там у них за главного? — дал понять, что экзамен — экзаменом, но еще и денежки надо, взятку дать. И не какую-нибудь, а двести целковых! Вот как.

— Н-да, нехорошо.

— А хорошо ли? Где она, бедняжка-то, возьмет столько денег? Разве ради того царю дали по шапке, чтобы такие хапуги появились?

— Нет, конечно, — отвечаю я. — А что стало с той девушкой?

— Одолжила ей денег на дорогу; из последних. У самой осталось рупь с мелочью. Поехала в свою Гянджу!

Мы долго молчим, не глядя друг на друга.

— Рассказать-то тебе еще про один частный случай? Их у меня тысячи. — Смеется. — Но это уже про себя, то есть — про меня. — И она начинает в добродушно-ироническом тоне рассказывать совсем уж безрадостные вещи.

Недавно она ушла от мужа-пьяницы. Прожили вместе тридцать три года, не шутка сказать! Но дня хорошего не помнит. Он плотник, хороший мастер, но пьет каждый день и дерется. Есть ли дети? Есть. Двое сыновей. Почему у них не живет? Пробыла у одного три месяца, у другого — семь, и не захотела больше. Не поладила с невестками! И где только сыновья находят таких лахудр — не понять!

— А сыновья — помогают? — спрашиваю я.

— Старший бы мог, да не помогает, говорит: «Живи, мать, как хочешь и как можешь». Ты где-нибудь такое еще слыхал?.. А младший, Федя, и хотел бы помочь, да не может, гроши получает. Что возьмешь-то с него, простого моториста?

— Ну вы хоть переписываетесь?

— Нет, — отвечает она. — И сами не пишут и на письма не отвечают. — Она ладонью вытирает слезу, говорит: — Похож ты на Федю-то моего... Плохо только, что о матери-то родной редко вспомнит.

— Ничего себе у вас сынки, тетя Варвара! — говорю я возмущенно. — Какие-то уроды. Как же о матери можно забыть?

— Уроды не уроды, а как видишь, забыть-то можно. — Вздыхает. — Ох, сынок, ты еще не хлебнул жизни-то. Это еще не самое страшное. Бывают случаи и пострашнее. Вон прошлым летом я жила в людях-то, так там на другой улице брат и сестра договорились промеж себя, убили мать-старуху.

Потом она рассказывает, как работала «в людях». Не поладила с хозяйкой. Тоже дерется! К тому же у нее трое детей. Так набегаешься за день, что ночью хоть криком кричи от боли в ногах. Здесь же, в бараке, легче. Тяжелого ничего не приходится делать: подмела, вскипятила утром и вечером чай — и сама себе хозяйка.

Но такой тоской веет от ее рассказа, что когда она вновь начинает вспоминать про мужа, то мне становится жутко ее слушать.

— Как же он мог вас так бить, тетя Варвара?.. А вы что молчали?..

Она иронически смотрит на меня, потом улыбается. Улыбка у нее хорошая, добрая; такая была у моей мамы.

— А так и бил-то. Схватит за косу — она у меня до пояса была! — намотает на кулак, — куда денешься! — и лупит, куда хочет-то! А то душить начнет. Ну, вывернешься, двинешь ему ногой в одно место — отскочит. А придет в себя-то, начнет швырять, что попадется под руку. А то ремнем отстегает, — он у него с войны, вот с такой медной бляхой! — живого места не оставит.

Вздыхает она, вздыхаю я. Письмо Виктора валится у меня из рук. Как люди могут так жить?

— Да, значит, плохи-то дела в Европе? — немного погодя спрашивает тетя Варвара и встает.

Но я ей не отвечаю. Не то она спрашивает всерьез, не то смеется. Иногда трудно ее понять.

Входит Романтик. Берет полотенце, идет мыться. По пути бросает мне:

— Не завалялись ли у тебя дома учебники по физике? За шестой и седьмой классы?

— Наверное, есть. Поискать надо.

— Не поищешь?

— Ладно. Вечером схожу за ними.

* * *

Возвращаюсь я в общежитие поздно. Что-то около двенадцати. В бараке полумрак, все уже спят. Только один Глухонемой старик, кряхтя, ворочается на своем топчане.

Я кладу учебник по физике на тумбочку Романтика и тоже ложусь в постель. Но долго не могу заснуть. Мучительным оказался для меня сегодняшний разговор с тетей Варварой. Он не выходит у меня из головы.

Да, здесь, в бараке, другой мир, другие люди. Странные люди со странной судьбой!

Вот, например, Глухонемой; звать его — Иван Степанович. Говорят: кулак, имел много земли, много скота. Водятся у него деньжата даже здесь, и немалые. Не зря, видимо, он все время нащупывает бугорок, выступающий у него слева, в паху: боится, что украдут кошелек. По ночам не спит, все вздыхает.

Или взять Угрюмого. Его фамилия Сааков. Только с Глухонемым он переговаривается на пальцах или кричит ему в самое ухо. А так — молчаливый, грустный, какой-то обреченный старик. Кто он? Что привело его в «бродячую артель», заставило на старости лет работать грузчиком?..

Не так просто разгадать и «Казанскую сироту». Тоже ведь не мальчик! Давно, наверное, за пятьдесят. В таком возрасте редко кто

Прочти, лентяй несчастный. Боюсь, что, как только мы уехали, ты перестал читать газеты. Учти, ты обязательно должен стать докером. Никакие трудности тебя не должны страшить. Докеры — самый боевой народ...»

— Чем опечален-то?.. Что не рад?.. — раздается рядом со мной голос тети Варвары.

— Да веселого мало, — говорю я, поднимая голову. — Вот письмо получил...

— От кого же?

— От товарища. Из Ленинграда.

— Что — болен товарищ-то твой?

— Да нет! — с досадой отвечаю я. И не удерживаюсь: — Положение в Европе неважное.

С минуту, моргая, она непонимающе смотрит на меня.

— В Европе-то?.. А где это Европа твоя?

Я с тоской смотрю на нее. Ну, как объяснить неграмотной старухе? Делаю рукой этакий замысловатый жест:

— Там — где Германия, Франция, Англия, — и жду, когда она уйдет.

— Что-нибудь стряслось там? — К ужасу моему, она присаживается ко мне на топчан. — Не война ли скоро, парень?

— Нет, пока у них много трудностей. Много безработных. В Берлине вот женщины бьют стекла в магазинах...

— Ну, а как живут в Питере-то?.. Очереди там такие же, как у нас в Баку, или поменьше? Слышал: говорят, скоро у нас введут какие-то заборные книжки. Не знаешь — почему заборные-то?

— Не знаю, — отвечаю я, совсем не расположенный к беседе, и продолжаю читать. Может быть, она все же уйдет? Мне очень хочется побыть одному.

Но тетя Варвара с укоризной смотрит на меня.

— А что же тебя интересует, парень?

Я усмехаюсь.

— Мировые проблемы! — И переворачиваю страницу. «Как тебе нравятся события последних дней в Испании? Движение против попов и монахов у них охватывает всю страну, всюду пылают монастыри...»

— Мировые, мировые! — раскачиваясь, сетует тетя Варвара. — А кто о нас, не мировых-то, подумает?

Мне вдруг становится жаль ее, такую темную старуху. Пытаюсь в общих чертах рассказать ей про мировую революцию. Поймет ли она?

Слушает как будто бы внимательно. Потом долго молчит. Что она скажет?

— А ты думаешь, мы уже хорошо живем? Пора о других подумать-то? — Скрестив руки на груди, она тяжело вздыхает. — Ох, парень, сперва у себя дома-то навести надо порядок. Когда у нас будет порядок, люди это и сами увидят, им тоже захочется жить по-хорошему.

— О каком ты порядке, тетя Варвара?

— А вот сходи на двадцать шестую пристань, на холодильник Азрыбтреста, — сам увидишь!.. Я вот побыла там, нагляделась!.. Второй день в такую жару ждут разгрузки «Цюрупа» и «Лев». Ты думаешь — с солью они пришли-то, с бревнами?.. Как бы не так! В трюмах у них свежая белуга для твоей Европы-то, красная рыба, черная икра!

— А почему холодильник не принимает?

— Почему, почему? — сердится тетя Варвара, хлопнув себя по коленям. — Потому что, говорю тебе, порядка нет. Холодильничек-то загружен до самой крыши? Вагоны им не подают вовремя? Куда же деть мороженую рыбу-то?.. Вот свежую и не принимают, и она тухнет. Гору уж навалили ее на пристани! Сторож-то ихний позвал меня, говорит: «Хочешь, Варвара, подарю тебе белугу пудов на двадцать, отродясь ты не видела такую?» И правда, не видела. Что твой слон у Дурова-то в цирке. Посмотрела я на эту зверюгу — морда вот такая, в два обхвата, сама вся лоснится от жира; вкусная, видать, рыба-то, — вздыхает тяжело. — Бери задарма — не надо! — Снова вздыхает. — А хорошо бы ушицы-то белужьей покушать, правда?

Вместо ответа я только чмокаю губами: аппетит у меня в порту становится ужасным.

— А будь у нас порядок, что надо б сделать?.. Вагоны вовремя подать, парень! Ну, а если вагонов-то нет — пустить рыбу в открытую продажу, не дать ей испортиться. Народ бы в один час все расхватал! И людям радость, и государство не в накладе. Я и то своим глупым бабьим умом это хорошо понимаю. А они на что посажены, начальнички-то треста?.. За что им большие денежки-то платят?.. Сторож тоже, на что он глупый, и то сокрушается по протухшей рыбе, говорит, что за три пуда белуги американцы дают трактор, и за пуд икорки дают трактор-то. Вот бы взять эти тракторы-то у них да пустить в наши колхозы!.. — Она треплет меня по плечу и встает. — Так-то, парень. А ты говоришь — мировая революция!

Тут меня черт дернул сказать:

— Ну, это частный случай и ни о чем еще не говорит.

— Что значит — частный? — Тетя Варвара настороженно, но воинственно смотрит на меня.

— Ну, единичный, нехарактерный, — пытаюсь я объяснить ей популярно.

Тогда она снова садится на топчан. Устраивается поудобнее, видимо, надолго.

— А это, по-твоему, тоже «частный случай»-то?.. Вот вчерась я проходила мимо цирка... На углу там нститнтут, что ли, какой... Вижу — выходит оттуда девушка, слезами заливается. Ну, я подошла к ней, кое-как успоконла; ничего себе говорит по-русски, понять-то можно... Так из-за чего она, сердешная, по-твоему, плачет-то? А вот послушай, парень,

на охранника. Тот отходит в сторону и больше не оборачивается. Но и тетка, при всей своей храбрости, не смеет перейти черту.

Все лезут по карманам. Бросают переселенцам кто что может. Особенно старается Глухонемой старик. Он кидает кисет с махоркой. Два куска сахара. Спички. Пузыречек, в котором хранит соль. И все шарит, шарит по карманам, но ничего больше найти не может.

Откуда у него такая сообразительность — не понять! Ведь как будто бы ни-че-го не слышит! А может, немного все-таки слышит?..

— Спасибо, добрые люди, спасибо! — раскланивается в пояс старичок с козлиной бородкой; истово крестясь и приседая, он подбирает брошенное добро.

Киселев бросает начатую и запасную пачки махорки. Потом — две воблы и луковицу, припасенные на обед.

Крестятся и худой, как жердь, мужик и баба в цветастом сарафане. Подходят, крестятся и другие.

Несколько поодаль от них стоит мужик с большим красным, точно выкрашенным носом. Красноносый одет в добротный коричневый костюм, в новые сапожки. На груди виднеется цепочка от часов.

Киселев достает еще кусок хлеба, но хлеб бросить не смеет. Встает, бесстрашно передает хлеб у самого носа охранника из рук в руки откуда-то подбежавшей девочке лет шести — восьми — босой, в рваном платьице, в каких-то болячках. Если б кому-нибудь из переселенцев нужна была его рубаха — он не задумываясь снял бы ее с себя. Но рубаха в такой зной никому не нужна.

С поникшей головой Киселев возвращается и тихо садится к стене. Впервые я вижу его лицо не багрово-красным, а побледневшим. Не скажешь ему сейчас: «С легким паром!»

Угрюмый Сааков, по примеру Киселева, достает из кармана пиджака большой кусок хлеба, идет и почему-то протягивает его не кому-нибудь, а Красноносому. Но тот не берет хлеба, качает головой. Тогда Угрюмый насильно сует хлеб ему в руки.

— Благодетели, мать вашу! — громко ругается Красноносый и ударом ноги отшвыривает хлеб далеко от себя.

Тут мы все ахаем! Этот, видно, ни в чем не нуждается. Кулачок! Как и некоторые другие, что стоят в отдалении, и с ухмылкой наблюдают за всем происходящим.

Девочка в болячках бежит, хватает хлеб и скрывается в толпе.

Красноносый уходит, но подходят все новые просители.

Протягивают переселенцам что находят в карманах — Шарков, Романтик и даже Агапов. Один только Чепурной сидит, точно сыч, сжав губы и спрятав свои глаза-молнии за низко свисающими бровями. Он ни на что не реагирует.

«Странный человек, — думаю я. — Мог бы ведь тоже что-нибудь дать».

Я достаю всю мелочь из кармана, завертываю в бумагу и бросаю к ногам крестьян. Потом, по примеру Киселева, встаю и передаю подошедшей старухе два зачерствевших пирожка с рисом, оставшихся от завтрака.

Старуха вдруг хватает мою руку и начинает ее целовать. Я вздрагиваю от стыда. Пытаюсь вырвать руку. Но она держит ее точно клещами и все целует, целует.

— Спасибо, сыночек, спасибо, — шепчет старуха и плачет.

И тут — брызнут слезы у меня из глаз!

— Отпусти, бабушка, руку! Отпусти! — кричу я в слезах и, вырвавшись, убегаю в пакгауз...

За мною вскоре приходят Киселев и Шарков.

— Тоже мне, докер! — говорит Киселев, привалившись к стене.

Шарков вздыхает:

— Да, ребятка, дела какие.

— Экий ты жалостливый! — говорит Киселев, а у самого голос дрожит, вот-вот сорвется в слезы.

Но не срывается. Успокаиваюсь и я.

Шарков все тянет:

— Да, ребятка, дела какие.

Выходим из пакгауза. Вокруг все сидят опустив голову. Сажусь и я на свой палан между Романтиком и Чепурным.

А на пристани уже раздаются свистки, вся переселенческая крестьянская ватага направляется на лесные шаланды, стоящие по обе стороны от пристани, заполняет их от борта до борта. Путь у всех один: через Каспий в Красноводск, и дальше — в безлюдные закаспийские степи.

Чепурной встречается взглядом с Романтиком. Спрашивает:

— Ну, каков лес-то?.. Щепки-то какие, товарищ Рамантек?..

Но Романтик не отвечает, отворачивается от него.

Тогда Чепурной ловит мой взгляд.

— Тоже мне — телячьи нежности! Пусть хоть подохнут все — плевать! — Он достает табакерку и медленным, сосредоточенным движением пальцев крутит цигарку. Но желваки на его скулах так и бегают вверх и вниз.

Я смотрю на него: «Не с ума ли он сошел?» Хотя, конечно, плакать мне ни к чему было. Это он прав. Надо было совладать с собою, отвернуться, сказать какую-нибудь шутку. Не сумел!

* * *

Среди ночи я чувствую, — кто-то трясет меня за плечо. Я открываю глаза.

Рядом, на соседнем пустующем топчане сидит Глухонемой старик, Иван Степанович.

Видимо, второй или третий час ночи. В бараке полумрак, все спят, но почему-то не слышно обычного храпа. Что-то гнетущее есть в этой тишине. Какая-то затаенность. А спят ли? Может, притворяются?

Приложив палец к губам, Иван Степанович шепчет:

— Слышь, сынок, хочу поговорить с тобой. Без свидетелей!

— Вы, значит, говорите, слышите? — спрашиваю я, как будто бы не догадывался об этом раньше.

— Я и слышу хорошо, и говорю хорошо, сынок. Только об этом — молчок! — И он снова прикладывает палец к губам. — Все приглядываюсь к тебе, думаю: честный ты парень или нет? Не выдашь?

— А что такое, отец? — Сон у меня сразу улетучивается. Я сажусь в постели, обхватив колени.

— Напиши, сынок, письмо. Сам пытался, да грамоты маловато. Нескладно у меня получается.

— Куда писать? Кому?

— Да Михаилу Ивановичу Калинину. В Москву!

— Калинину?! — Я опускаю ноги на пол.

— Ну да, Калинину! Больше некому. Ты думаешь, не дойдет письмо, не ответит? — Он с надеждой смотрит на меня.

— А писать-то что ему? — Мне все не верится, что я разговариваю с Глухонемым.

— Что писать? — Старик растерянно оглядывается по сторонам, наклоняется ко мне, хриплым шепотом говорит: — Напиши, что я никакой не кулак, никогда кулаком не был. Пусть он хорошенько проверит это дело, он сам из мужиков.

«Ах, вот оно что! — Я подозрительно смотрю на него. — Значит, старик и на самом деле кулак?»

Иван Степанович перехватывает мой взгляд и вдруг по-бабьи, закусив руку, чтобы не зареветь на весь барак, начинает всхлипывать.

Что следует делать, когда плачет кулак? Я какое-то время смотрю на Глухонемого с самым безучастным видом, потом начинаю успокаивать его. Мне всегда тяжело смотреть на плачущих. Чтобы самому не разреветься, к тому же второй раз на дню, я беру его под руку, и мы идем к столу.

Старик выдвигает из-под топчана деревянный сундучок и суетливо раскладывает на столе давно заготовленную тетрадь в клетку, конверт, чернила в крохотном пузырьке, складную ученическую ручку.

Потом садится напротив меня и, заслонившись ладонью от света, пряча полные слез глаза, говорит:

— Тяжело мне работать грузчиком, ох, тяжело!

— А почему бы, отец, тебе не делать другую работу?

Черт, вырвалось же снова — «отец»!.. Кулак — и отец!..

— Какую? Подскажи.

— Ну, устроиться куда-нибудь сторожем, что ли.

— Ходил. Никуда не берут. Документов-то у меня никаких!

— Никаких?

— А какие могут быть документы у лишенца? Я ведь лишен всех прав.

— Да-а-а-а, — тяжело вздыхаю я, вертя в руке новенькую ручку, не зная, что с ней делать.

— Мне, в моем возрасте, — ведь стукнуло шестьдесят два! — лежать бы на печи, а я мотаюсь по белу свету.

Он оттягивает кальсоны, показывает опухоль величиной с кулак.

— Видишь?.. Надорвался на работе, на хлопке. Черти-персы его прессуют у себя дома на восемь пудов, у них там никакой охраны труда, вот и не сдюжил.

Вот так штука! А я-то думал... старик носит с собою мешочек с золотом.

Опустив плечи, Иван Степанович долго сидит молча. Потом рассказывает свою грустную историю. Он из Крестецкого района, откуда-то из-под Новгорода. Садовод. Опытник. Вроде Мичурина, о котором сейчас много пишут в газетах. В саду у него растут яблоки десяти сортов — по дереву каждого сорта.

— Ел ты когда-нибудь «белый налив», «медовуху», «королевскую анисовку»? — спрашивает он меня и сам же себе отвечает: — Где там! У вас на Кавказе нет таких яблок! А слышать про них ты хоть слышал?

— Нет, — говорю я.

— Слышать даже не слышал! — укоризненно качает головой Иван Степанович. — Посмотрел бы, какой у меня сад, хотя и небольшой, какие деревья! Веришь ли, с одной «королевской анисовки» собирал по двадцати пудов яблок. Есть у вас на Кавказе такие деревья? А уж собой хороша!.. — И он долго описывает, как выглядит эта яблоня... — А разве сыщешь что-нибудь краше «шатра-дерева»?.. Оно не так плодоносит, как «анисовка», но яблоки размером в два кулака, сочные. Когда ешь, то уж подставляй ладонь...

— Но разве сад — это кулацкое хозяйство? — спрашиваю я.

— Ну, откуда? Но когда стали выявлять кулаков, то заодно и меня зачислили в список. Садовод — непонятный зверь. К тому же — опытник! Но с первой партией не успели выслать.

— А у тебя... были батраки?

— Отродясь не было! Что я — кулак какой-нибудь? Всю жизнь сами работали с женой. Но все равно записали на высылку.

— Как же это могло случиться? — с удивлением спрашиваю я, уже участлнво глядя иа иего.

— А это я н сам не зиаю, парень. Догадываюсь, конечио. У иашего председателя сельсовета что-то не получалось с выполиеиием плаиа коллективнзации, сто процентов ему иикак ие собрать было для рапорта, вот он и сунул в свой список на высылку меия и еще человек десять середияков. Для острасткн! Не нам, конечно, — наше дело было решениое! — а другнм. Ну, заодно, кой-кому хотелось хапнуть мой сад. А в этом саду каждое деревцо я выходил вот этнми руками! — Ои кладет корявые, со сведенными, точио судорогой, пальцамн руки на стол, н снова дергаются его плечн.

Я снова успокаиваю Глухоиемого старика. Говорю ему какие-то жалкие слова.

Вытерев подолом рубахи слезы, он продолжает рассказывать:

— Не стал я ждать высылкн — чего это мие подыхать иа старости лет где-нибудь в тундре?.. Ночью собрали мы с женой кой-какое барахлишко и тайком ушли в соседний, Мало-Вншерский райои. У нас там знакомые староверы. Надежный народ! На хуторах не стали селиться, нас могли бы заметнть, чужих, а скрыться в лесной чащобе — скрылись. Вырыли хорошую землянку, обшили внутри тесом, поставнлн топчан, сложнли печку. Пищу нам прниосили, нногда и сами ночью шлн на хутор за продуктами. Но больше года я не выдержал этой проклятой жизин, уехал!.. Старуха же осталась жить в той землянке, хворая она у меия. Поколесил я после этого по нашей стране-матушке!.. Вот судьба н забросила меня на Кавказ. Дальше уж некуда бежать. Вот и решил, сынок: пан нли пропал, напншу пнсьмо Калиннну. Он у нас всесоюзный староста, выходнт, за все в ответе, пусть н рассуднт, как жить мне дальше. То лн вернет домой, то лн сошлет в Соловкн. Теперь все мне равно. Устал.

Наступает долгая пауза.

— А кулаков что — совсем не было у вас в деревне? — спрашиваю я, лншь бы что-нибудь спросить.

— Былн! — отвечает Иван Степановнч. — Сазоновы! Лопатины! Известные кровососы-захребетннки! Но только — этн двое. Другнх не было. Деревня у нас небольшая. А ведь заодно с ннмн выслалн н другие крестьянскне семьи, вроде вот сегодняшиих переселенцев, в пескипустынн, самых что нн есть середияков... За что, спрашнваешь?.. А ин за что! Так просто, нз-за людской корысти. Ну, к тому же, всякие рапорты. Ох, этн рапорты!.. Не ндешь к такому-то сроку в колхоз — тебя сразу в спнсок на выселение, чтобы с глаз долой. Торопятся все! Сверху нажнмают! Подавай им проценты. А что за ними — настоящий нли бумажный колхоз, — выходнт, ннкого не ннтересует.

Да, трудную задачу задал мне Глухонемой старик.

А он вслух размышляет:

— Этак ведь подрубишь сук, на котором сндишь. Нельзя крестьяиина силком тащить в колхоз. Надо дать ему время — он сам увидит свою выгоду. За лучшую жнзнь ведь ои долго боролся... За Советскую власть я, напрнмер, всю гражданскую воевал: сперва против генерала Юдеинча, потом против баид Булах-Булаховича, — слыхал про такого гуся? Три ранення нмею. Одиа пуля до снх пор в бедре сндит.

Ои точио чувствует у меия во взгляде недоуменный вопрос иасчет его «глухоты», говорит:

— Дал себе зарок: обернется все это дело счастливым концом — заговорю сиова. Нет — так и умру «глухоиемым». Надоело людям рассказывать про свое горе, выслушивать нх жалости. — Ои оглядывается по сторонам. — Так что насчет нашего разговора — инкому ин слова.

— Будь спокоен, отец, — отвечаю я, польщенный тем, что мне доверена такая большая тайна.

В это время раздается тнхнй стук в окио.

Иваи Степанович вздрагивает, оборачнвается. У него ужас в глазах.

Я подхожу к окну. Приоткрываю одну половину. Во дворе вижу всаднкка. Он весь в пыли. И лошадь у него белая от пылн.

— Слышь, хлопец, — говорнт всадник. — Выдь на мннуту.

Я прохожу мнмо стола, встречаюсь взглядом с Иваном Степановичем. Сндит он, точно парализованный, с тем же ужасом в глазах.

Я выхожу во двор. Незнакомец шагом подъезжает ко мне. На улнце, освещенные слабым светом фонаря, виднеются еще человек восемь всадников, за ними — целый табун лошадей.

Сияв кубанку, запустив пятерию в густую копну волос, незнакомец спрашивает:

— Це що, барак грузчиков?

— Это, — отвечаю я.

— Будь он неладен! — Он отчаянно скребет себе голову. — Весь вечнр шукав по городу!.. Не у вас живе грузчик — може, знаешь — Чепурной?

— У нас. Спит! — По выговору незнакомца я решаю: «Хохлы с Кубани илн с Дона».

— Ну, слава богу! Може, подымешь его? Тильки щоб других ие разбудить.

— Хорошо, — говорю я. — А что ему сказать?

— А кажн йому: Павло пытае. Вин зиае!

Я возвращаюсь в барак. Еле касаюсь рукой плеча Чепуриого. Он сразу встает, спускает ногн на пол. Ои почти одет.

— Там Павло какой-то тебя спрашивает, — шепчу я.

— А! — пронзносит он с деланным равнодушием н сует ногн в сандалнн. — Станичники нашн! На работу, наверное, прнехали устран-

ваться. — Надев шапку и стрельиув своими быстрыми глазками по стороиам, ои говорит: — Если утром опоздаю иа работу, скажи старшому: «Пишов до ликарни, зараз буде».

«С чего это ои по-украиински заговорил?» — думаю я.

Он уходит, а мы с Иваном Степаиовичем смотрим в окио.

Чепуриой здоровается с иезнакомцем, говорит:

— Ну, черт косолапый, зиайшов-таки?

— Зиайшов, зиайшов, Тимофий Захарович! — захлебываясь от восторга, отвечает тот.

— Скильки динв ихалы? — Опять по-украинскн!

— Да, считай, цилых десять, Тимофий Захарович. Тут погуторим, чи де? — осторожно н с почтением спрашивает он.

Но вопрос его остается без ответа. Чепуриой подходит к другим всадникам и здоровается со всеми за руку. Одии из иих подводит к иему оседланиого коия, Чепуриой ловко, одним махом взбирается иа иего и выезжает со двора. Верховые — за ним. Когда оии исчезают в темиоте, иесколько человек гонят табуи. Слышен храп десятков лошадей.

Я закрываю окио. Иван Степанович иемного успоканвается, вздыхает.

— Чего ты испугался, Иван Степаиыч? — спрашиваю я, садясь за стол.

— Сам не знаю, сам не знаю, — шепчет он.

Я разглаживаю тетрадку и долго думаю, с чего начать письмо Калиинну. Не найдя лучшего начала, я пишу: «Дорогой Михаил Иваиович, пишет Вам бывший боец Красиой Армии, садовод-опытник, зачисленный злыми людьми в кулаки...»

ГЛАВА ВТОРАЯ

Закончив погрузку «Ахундова», наши собираются у пакгауза. До шабаша еще целых полтора часа, уходить домой рано. На новую работу вряд ли сегодня дадут наряд, а иа самой пристани как будто бы делать больше иечего. Зиачит, иадо иабраться терпеиия, досидеть положеииое время.

Народ сегодия сильио устал. Надо было вовремя погрузить пароход, в последнюю минуту привезли еще много дополиительиого груза, н артель без отдыха работала до обеда. А в послеобедеииые часы было всего два перекура.

Привалившись к стене, кто курит, кто дремлет. Кто лежит на пристаиских досках, широко раскииув руки.

Особеиио сдал сегодия молчаливый Сааков. Он тяжело дышит, весь как-то осунулся, почернел. Наверное, ему ие легко дается работа грузчика. Старику за пятьдесят, а это, должио быть, очень миого. Сидит Сааков рядом с Чепуриым, поиуро опустив голову, думая о чем-то горестиом.

А Чепурной — наоборот, в каком-то приподнятом иастроеиии. Он пытается заговорить то с Киселевым, то с Шарковым, ио те дремлют и отмахиваются от него, как от иазойливой мухи.

Тогда Чепуриой пристает к Ромаитику, трясет его за плечо:

— Расскажи, от кого ты бежал, товарищ Рамаитек?

— Не твое собачье дело! — огрызается Романтик н ложится лицом вииз.

— А ведь бежал? — ие отстает от иего Чепурной.

Романтик ие отвечает.

Чепурной хохочет:

— Да, не зря иашу артель иазывают бродячей. Вторую такую ие сыщешь во всем свете. Что ни человек — загадка.

Для меня Ромаитик тоже загадка. Что его привело в грузчики? Ведь имеет, говорят, хорошую специальиость.

Чепурной вдруг обращается к Саакову:

— А ты, отец, видать, до артели был частником?

Глядя на Чепуриого, я вспоминаю ночных пришельцев. «Интересио, куда он их повел устраивать?»

Угрюмый старик медленно подиимает голову. Вопрос для него очень уж неожидаиный. Смотрит на Чепуриого настороженио, ищет подвоха в его вопросе. Но вид у того иезлобивый.

— Да, было такое дело, — говорит он, лениво вытягивая из кармана пачку папирос.

— Чем же ты промышлял? — Чепурной стреляет цыгаискими глазами по сторонам, приглашая всех принять участие в разговоре.

— Чем торговал, спрашиваешь? — Сааков закуривает, сует пачку в карман. — А вином торговал.

— Вином? — Глазки у Чепурного весело поблескивают. Хищно раздуваются ноздри. — Хо-о-о-ро-ше-е дело! Наверное, иапивался каждый день, отец?

— Нет, я непьющий, — смиренно отвечает Сааков.

— Вином торговать — и не пить? Заливаешь, отец! — Чепуриой смеется.

— Это разные вещи: пить и иапиваться, — с достоинством отвечает Сааков, затянувшись папиросой. — Пить и курица пьет. А напиваться, как другие, — этого со мной инкогда не бывало.

Привстает Шарков, «Казанская сирота», близоруко щурится иа Саакова. Снимает с лица шапку Глухонемой старик, как будто бы и мимо, ио смотрит иа Саакова, как на диковину какую. Поворачивается на спину Ромаитик, подложив под голову кулаки.

— Ну и как шло у тебя дело? — продолжает спрашивать Чепуриой.

— Как?.. А вот так: убили налогами.

— Но живой! — скалит зубы Чепурной. — Потом чем занимался?

Угрюмый изучающе смотрит на Чепурного. Не знает, рассказывать дальше или нет. Рассказывает:

— Сахаром пробовал торговать, но выдали.

— Кто? Кто? Кто? — раздается со всех сторон.

А Чепурной перебивает их:

— Выходит, отец, ты того... классовый враг?

— Какой-такой враг? — Лицо Угрюмого еще больше чернеет.

— А такой, что убивает и поджигает!..

— А-а-а-а! — Угрюмый старик через силу улыбается. — Нет, я в жизни и мухи не убил. Где там человека зарезать! И поджигать ничего не поджигал.

Чепурной хохочет, откинувшись назад.

— Да погоди, ребятка, — сердится Шарков. — Кто выдал?

— Родная дочь выдала, не чужая, — говорит Сааков.

Ошеломленные его ответом, все переглядываются.

— Да, да, родная дочь! — придя на какое-то мгновение в ярость, повторяет Сааков. Успокоившись, он продолжает рассказывать, покуривая: — Когда я остался без дела и без денег, у меня дочь заболела. Доктор говорит: надо на лето уехать из города — в деревню или на курорт... Живет у меня родственник в Пятигорске, отправил ему письмо... Тот пишет: «Приезжай, помогу, только привези два мешка сахару, здесь сахару нет, на нем хорошо заработаешь, оправдаешь поездку...» Ну я, старый дурак, послушался, купил сахару, часть отправил в Пятигорск посылками, остальное сдал в багаж. Все это я делал тайно от дочери. Она у меня идейная, пионерка. Сейчас, говорят, уже в комсомоле, работает где-то.

— Да-а-а, — тяжело вздыхает Чепурной. — Хорошо, что у меня нет детей.

— Но, конечно, вся эта история с сахаром не осталась не замеченной дочерью, — продолжает Сааков. — Она как-то подняла на весь дом тарарам, обругала меня обидными словами. Но я стерпел, я же отец... Потом надо было выручить деньги за сахар..: Продавал я его небольшими порциями, по два, по три килограмма... Не везти же было сахар обратно в Баку?.. Ну, тогда она пошла куда следует и...

— Выдала? — Чепурной даже вскакивает на ноги.

— Да, выдала. Сказала: «Отец у меня спекулянт». — Он гасит папиросу каблуком.

Все молчат. Шуршат газетой, сворачивают цигарки, думают. Качает головой Шарков. Мечется взад-вперед Чепурной.

Молчит и Сааков. Лицо у него становится черным, как головешка.

— Такую бы дочь я задушил вот этими руками! — Чепурной выбрасывает вперед руки, сцепив скрюченные пальцы.

Да, такой бы задушил. Я лично в этом не сомневаюсь.

— Такую и задушить мало! — говорит Агапов, вставая. — Вот стерва!

— Шайтанова дочка! — произносит Шарков, качая головой. — Слава аллаху, татарская дочка — тихая дочка.

— Не радуйся, «Казанская сирота»! Азербайджанка тоже была «тихая дочка». А вот — бросает чадру, идет учиться и работать, — отвечает ему Романтик.

— Ну, судили меня за сахар, — продолжает Сааков. — Год отсидел в тюрьме. Вышел — не знаю, куда идти.

— Дочь пошла супротив отца?.. Штучка! — Киселев потягивается и тоже встает. Не дали ему подремать.

Сааков рассказывает:

— Домой я не пошел. Какой у меня теперь дом? Ночевал у знакомых, пока не устроился к вам в артель.

— Она-то знает, что ты здесь?

— Наверное, передали.

— И не пришла проведать отца?

Он жалостливо разводит руками.

Все утихают. Теперь надолго. Что сказать, как посочувствовать Саакову? Глупое положение.

Не знаю, как бы долго это продолжалось, не появись на пристани старшой. Видимо, он с «вербовки».

Рядом с ним идут двое новеньких: один с чемоданом в руке, другой — с узлом за плечами.

Кивком головы Горбачев здоровается с нами, говорит:

— Прошу любить и жаловать — шахтеры! Откуда, ребята, запамятовал? — оборачивается он к новеньким. Лицо у него багровое, глаза — осоловелые.

— Из Чиатур! — разом отвечают они.

— Из Чиатур?.. Где же это ваши Чиатуры? — Старшой страдальчески хмурит лоб.

— Да в Грузии! Совсем близко! — подает голос Агапов и смеется.

— Ах да, Чиатуры! — смеется и старшой. Когда он выпьет, смех у него заливистый и долгий. Видимо, новенькие успели его угостить. Через это прошли все, потому никто не придает значения опьянению старшого.

Первый из шахтеров — высокий, с атлетической фигурой — Баландин. Второй — приходится ему по пояс, замухрышка, со странной фамилией — Карпенти.

Если Баландин по-своему одет щеголевато и все завороженно не сводят глаз с его серого костюма из английского коверкота, хотя и сильно помятого и в пятнах, то Карпенти в какой-то рванине с чужого плеча, в длинных, не по росту,

брюках, в пиджаке с закатанными рукавами, весь вывалявшийся не то в угле, не то в грязи.

У Баландина красивое, с тонкими чертами лицо, голубые глаза, пышная шевелюра. У Карпенти — обезьянья мордашка с недобрыми глазами, кривая ухмылка.

— Чего ж вы убегли из ваших Чнатур? — спрашивает Киселев.

— По морю соскучáлись! — Баландин широко улыбается, показывая крупные белоснежные зубы. Ставит щеголеватый лакированный чемодан, хотя, правда, тоже изрядно помятый. — До шахты мы ведь работали в Одесском порту.

— О, Одесса-мама! — восхищенно произносит Агапов и понимающе кивает головой. — Сколько у вас там стоит отрез коверкота?

— Смотря у кого купить. Англичане продают за сорок, всякие там греки — за пятьдесят целковых. — Баландин снова широко улыбается: он явно хочет нам понравиться.

Но не так-то это легко.

— А работали вы там — с крюками или без? — почему-то ощетинившись, спрашивает Киселев. Новенькие, я чувствую, пришлись ему не по душе.

— Какой же дурак работает без крюка? — Карпенти ухмыляется. — С ними не расстаемся. — Он скидывает с плеча увесистый узел и достает два ладных крюка. — Вот, смотри!

Крюки ходят по рукам, попадают к Киселеву. По форме они похожи на рогатки, только с ястребиными коготками на конце. У основания крюки обмотаны тряпкой, чтобы не натереть мозоль на ладони. Ястребиные коготки сохраняют грузчику пальцы, ибо от частого хватания мешков за углы у него со временем стираются до крови ногти, вызывая мучительную боль.

Но у крюков есть один большой недостаток — они рвут мешки.

— Крюки у вас хорошие, ребятки, — говорит Киселев, подкидывая их в своей широкой ладони. — Но ежели у нас работать — надоть их запрятать подальше.

Узнаю Киселева! Всегда и везде — хозяин.

— А мне плевать на эти крюки! — Баландин снова показывает свои крупные белоснежные зубы. — Руки у меня и так хваткие.

Карпенти как завизжит:

— Отдай наши крюки!

Киселев отстраняет его руку, обращается к Горбачеву:

— А что ты присоветуешь, старшой? Можа, с ними работать?

— Мешки рвать не позволю! Насчет крюков — ни-ни! — Горбачев грозит пальцем и, заложив руки за спину, идет к «Ахундову», подальше от греха: не любит он вмешиваться в споры.

— А вы как, ребята? — обращается Киселев к нам, пряча от Карпенти крюки за спину.

Все безмолвствуют.

— Да забрось их к чертям собачьим! — кричит Романтик.

— Стало быть — забросить? — Киселев привстает и, размахнувшись, забрасывает крюки далеко в море. «Буль-буль!» — раздается где-то вдали.

Карпенти, побледнев, беспомощно смотрит на Баландина, а тот, не меняя беспечного выражения на лице, говорит:

— А это вы здорово, ребята. С вами будет весело работать.

— Стало быть, скучать не придется! — Киселев берет свой палан.

Остальные тоже тянутся за паланами, закидывают их за плечо. Можно и домой идти, пожалуй, время.

Выйдя за ворота пристани, я иду рядом с Сааковым, говорю:

— Не могу я, отец, чем-либо тебе помочь?

— А чем тут поможешь? — не поднимая головы, отвечает он.

— Не мог бы я помирить тебя с дочерью?.. Ведь как-то нехорошо все это, а?

Он грустно улыбается, потирает обросший щетиной подбородок.

— Ничего, сынок, с этим примирением не получится. Она у меня фанатичка. И мать ее покойная такая была. — Подумав немного, он уже тверже говорит: — Нет, ничего не получится, — и прибавляет шаг.

Я отстаю, иду один.

Вскоре меня нагоняет Иван Степанович. Оглядывается по сторонам, спрашивает:

— Никому ничего не сболтнул?

— Нет. Зачем же?

— А чего ж тогда как-то нехорошо на меня сегодня посмотрел Агапов?.. И Киселев чему-то все время улыбался... Вон и Сааков не дождался меня, ушел один...

— Это все тебе показалось, — говорю я ему. — А у Саакова — своего горя хватает. Слышал историю про его дочку?

— Слышал. Не такое еще бывает!.. Как ты думаешь, Гарегин, ответят на наше письмо?.. Или замаринуют?..

— Обязательно ответят!

— Добрый ты парень! — Старик кладет мне руку на плечо. — Вдруг и на самом деле ответит Калинин, скажет: «А ну-ка, Иван Степаныч, возвращайся-ка ты со своей старухой домой, хватит вам мотаться по белу свету». Вот бы здорово было, а?

— Увидишь — так и будет!

Он как-то хорошо улыбается, подмигивает мне. На какое-то мгновение у его даже исчезают морщины.

— Добро для других... Когда перестанешь думать только о себе и вся заботушка будет у тебя о других — тогда считай, что стал ты человеком... Че-ло-веком!.. Вот так, Гарегин!..

Мне от его улыбки и от его слов становится как-то особенно хорошо и умильно. Ноги сами несут меня. Хорошо, когда людям делаешь добро. Это чувство ни с каким другим не сравнимо. Это я давно заметил.

У стадиона нас окликают шахтеры.

— Слышь, ребята, далеко у вас общежитие? — Красавец Баландин равняется с нами. Позади него плетется Карпенти. Он несет и свой узел, и чемодан Баландина.

— Да нет, близко, — отвечаю я. — Мы как раз идем туда.

На стадионе раздаются оглушительные вопли десятка тысяч болельщиков. Видимо, забили гол.

Глухонемой старик отделяется от нас, идет догонять Саакова. Успокоившись сам, он, надо думать, хочет утешить и своего друга.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

А этот Баландин молодец. Не то что хорошо — красиво работает. Не ждет, когда подойдет его очередь, а сам лезет вперед, с удовольствием подставляет спину под груз и бежит по пристани, как это делают ударники артели Гаджиева.

Что удивительно — мешок не сползает с его палана. Он как припаянный. И ведь руками Баландин не касается его! Знает черт, в каком положении держать корпус, «чувствует» груз. Это уже профессиональная черта. Бывалый грузчик.

Все мы любуемся им. И статен, и ловок, и весел. И смеется красиво. Его уже заметили пристанские зашивальщицы.

Совсем иначе выглядит рядом с ним его кореш — обезьяноподобный Карпенти. Этот — лодырь. То и дело садится курить. А то вдруг исчезает. К тому же он новичок в работе. Это видно сразу.

Смотреть, как он несет груз, — одна потеха. То и дело мешок валится у него с палана. Он закидывает руки назад, пытается подпереть его снизу. Но для этого ему приходится нагнуться под прямым углом. А в таком положении далеко не уйдешь. Тогда он немного выпрямляется. И мешок снова начинает сползать!.. Карпенти судорожно хватается обеими руками за «ушки» мешка, удерживает его, но это дается ему ценой большого напряжения. Я это испытал на себе.

С ненавистью он встречает и провожает Киселева. Взгляд у него тяжелый, недобрый.

А Киселев еще издевается над ним:

— Чего ж, друг-приятель, не достаешь свои крюки со дна морского?

С крюком, конечно, легче работать. Воткнешь его в мешок и идешь себе барином. Никуда не денется груз с твоего палана!

— Дурачье! — ругается Карпенти, поддерживая падающие штаны. — Рук не жалеете.

— Но и мешки, чай, жалеть надоть. Добро-то государственное?

— А мне плевать на него! Есть зашивальщицы, зашьют мешки.

Так время тянется почти до самого обеденного перерыва. А там Баландин вдруг хлопает в ладоши и скандирует:

Гауши, гауши,
Тяни его за уши...

Не условный ли это у них знак?

Так и есть!.. Карпенти делает еще несколько шагов, пригибает еще ниже голову и с силой тянет мешок за «уши» вниз; с хрустом он грохается на пристанские доски. Из разорванного мешка куски рафинада, размером в кулак, как брызги разлетаются во все стороны.

Доказать, что это он сделал сознательно, — трудно. К тому же мешки падают с палана не так уж редко, и у каждого! И так же рвутся!

Баландин веселеньким голоском кричит на всю пристань:

— Эй! Зашивальщицы! Дуся!

Из склада раздается женский голосок, такой же веселенький:

— Что, Сереженька?

— Мешок надо починить!

В ответ раздается хохот. Потом:

— Пусть ваш старшой свою Дусю пригласит. Баба она дородная, одной задницей крышу прикроет.

Раздается новый взрыв хохота. Смеются во всю глотку Дуся и ее подружка Сима.

Сбросив груз, я возвращаюсь на пристань. Впереди меня маленькими шажками семенит Карпенти. Изогнувшись, оттянув руку в сторону, он осторожненько несет из машинного отделения ведро дымящегося кипятка.

Навстречу ему идет Баландин с шапкой, полной сахару. Он поворачивает Карпенти назад. Бросает мне:

— Эй, парень, пошли-ка с нами пить чаек по-одесски!

До склада я не дохожу. Бьет склянка. Двенадцать часов. Обеденный перерыв.

Я иду на пароход. Интересно все же, что это за чаек «по-одесски»?

В ведро с кипятком Баландин швыряет весь сахар из шапки, высыпает пачку чая.

Вахтенный матрос выносит на палубу поднос с десятком жестяных кружек.

Каждый берет себе по кружке, зачерпывает чай, все садятся на своих паланах вокруг ведра, и начинается чаепитие... по-одесски.

Ай да одесситы... из Чиатур! Ай да шахтеры... из Одессы!

Рядом со мной сидит Сааков. Отхлебнув чаю и обжегшись, он наклоняется ко мне, говорит:

— Я, кажется, в тот раз зря отказался от твоей помощи.

Я с радостью отвечаю ему:

— Конечно, зря. Может быть, я и помирил бы тебя с дочерью.

Он грустно улыбается, говорит:

— Выбери как-нибудь свободный вечерок, пойди к ней. Звать ее Зара, адрес я тебе дам. Посмотри, как она живет, в чем нуждается, не болеет ли. Ведь она у меня теперь осталась одна, никого другого у нее тоже нет. — В глазах у него появляются слезы. — Вот тут, — он лезет в карман и достает портмоне, — есть немного денег, передай ей. — И он отсчитывает мне десять сложенных, как фантики, рублей.

На этот раз меня уже разбирает любопытство: какова же она — эта загадочная дочь Саакова, Зара?

* * *

Придя с работы и переодевшись, я немедленно пускаюсь в дальнюю дорогу. Еду на двух трамваях до Сабунчинского вокзала, а потом плетусь пешком на Третью Кантапинскую. Нахожу невзрачный с виду дом, огороженный каменным забором, каких здесь много, в нагорной части города.

Вхожу во двор. Он чистенький, с чахлыми акациями, с виноградом, стелющимся по стеклянным галереям.

Поднимаюсь на второй этаж. Иду по балкону.

На мой стук выходит девушка. Она в юнгштурмовке, затянута широким ремнем. Через плечо перекинута портупея. Над нагрудными карманами, набитыми карандашами и блокнотами, поблескивают три значка. На голове — красная косынка. В руках — раскрытый портфельчик, куда она запихивает какие-то бумаги, видимо, собираясь уходить.

Гордо откинутая голова. Гордый профиль. Большие черные глаза. Красивая!..

— Мне нужна Зара Саакова, — произношу я с некоторым страхом.

Девушка настороженно смотрит на меня. Красными пятнами покрывается ее лицо, лихорадочным огнем начинают гореть глаза. Прижимает к себе портфельчик.

— И зачем вам Зара Саакова? — Она пропускает меня на небольшую галерею, где стоит дощатая тахта и одна-единственная табуретка. Бросает на тахту портфельчик.

— Ваш отец... — начинаю я, теребя в руках кепку.

Тут она взрывается:

— Нет у меня никакого отца! — и, заламывая руки, нервно мечется по галерее.

Я с испугом смотрю на нее. Не шутит ли она? Нет, не шутит. Рот крепко сжат. А щеки уже пылают пятнами.

— Ну как же нет! Ведь я работаю вместе с ним.

— И все равно нет у меня никакого отца! — обрывает она меня. Глаза смотрят ненавидяще, сузившись в щелочку. — Что — вышел из тюрьмы? — Она двумя резкими рывками затягивает косынку за концы.

Переминаясь с ноги на ногу, я говорю:

— Вам бы следовало это знать... Мы работаем вместе...

— Где живет?.. Садитесь. — И она ногой подвигает мне табуретку.

— Спасибо, я постою... Я забежал на минутку, — говорю я. — Живем мы с вашим отцом в общежитии, как и остальные грузчики нашей артели. Работаем в порту.

— И что он там делает?

— То же, что и другие: грузит и разгружает пароходы.

Зара садится на край тахты, закидывает ногу на ногу. Она уже пришла в себя, пятна на ее щеках начинают бледнеть. Все шире раскрываются глаза.

— Приспосабливается к Советской власти?.. Рабочий стаж зарабатывает?..

— А что же ему делать — ложиться умирать? — Я ее не понимаю.

Она откидывает голову, смотрит в потолок:

— Это была бы благородная смерть.

Шутит она или не шутит? Но такими вещами не шутят.

— Вам бы следовало заинтересоваться его судьбой, — снова начинаю я.

— Судьба его нисколько меня не интересует! — Она вскакивает с тахты. — Не хочу быть дочерью классового врага! — и снова мечется по галерее.

«Железная девушка!»

Я не знаю, как вести себя дальше. Уйти?

— И все же он ваш отец... Тихий, милый старик... У нас все его любят и жалеют, — пытаюсь я разжалобить ее.

— Все они «милые»! — Она нервно поводит плечами. — Объяви завтра снова нэп, он сразу же возьмется за старое. Не просто начнет торговать вином, а откроет «дело», станет крупным дельцом. — Глаза у нее опять сужиаются в щелочку, полыхают лихорадочным огнем. — Их всех надо уничтожать, как классовых врагов! Отец не отец — мне плевать!

Она стискивает зубы, и тут только я замечаю, как у нее судорожно дрожит рот.

— Но разве жестокость...

— Христианской морали вы меня не учите!.. Кажется, еще комсомолец?

— Нет пока. Но скоро буду.

— Интересно, в какой школе вы учились? В каком городе?

— Представьте себе — в Баку, в тридцать девятой школе.

— Это что — на Красноводской?

— Представьте себе — да! — Я пытаюсь улыбнуться, смягчить резкость нашего разговора.

Она вдруг тоже на какое-то мгновение улыбается. Это так неожиданно. Говорит, заглядывая мне в глаза:

— Смотрите, как бы из вас не вышел добренький оппортунист. Начинается ведь все это с бесхребетной мягкотелости.

— Какая вы проницательная! — Я снова пытаюсь улыбнуться.

— Да, да, — не обращая внимания на мою реплику, уже мягче говорит она. — Советую вам быть непримиримым ко всякой нечисти. — Она берет с тахты портфельчик. — Извините, но мне некогда, пора на бюро.

Мы выходим на балкон. Она вешает на дверь замок и, размахивая портфельчиком, проворно сбегает по ступенькам.

Я же уныло плетусь за ней.

С каким-то двойственным чувством я покидаю этот маленький уютный дворик, увитый виноградом. С одной стороны, я, конечно, восхищаюсь Зарой Сааковой. Железная девушка! Она — комсомолка, уже заседает на бюро, вершит большими делами. А я — еще юнец, хотя и работаю докером. Где мне было вступить в комсомол? В школе, как известно, не бывает комсомольской организации, а в порту сразу же пойти и подать заявление как-то неудобно.

Но, с другой стороны, думая о Заре Сааковой, я не могу согласиться с ее жестоким отношением к родному отцу. Не погорячилась ли она? Разве нельзя было как-то иначе поступить с ним? К тому же, разве обязательно, чтобы каждый бывший торговец стал классовым врагом?.. Угрюмый старик таким не выглядит...

Женщины на галереях, побросав свои дела, смотрят мне вслед. В таких домах ведь все знают друг о друге, вплоть до мельчайших подробностей, живут как бы одной семьей. По лицам женщин я вижу, что их разбирает любопытство: «Зачем приходил? Не кавалер ли Зары?»

Тут я вспоминаю о деньгах, переданных Сааковым для дочери, кидаюсь на улицу. Но «железная Зара» уже стремительно поворачивает на Станиславскую. В толпе только на мгновение мелькает ее красная косынка.

* * *

— Не знаешь, где Сааков? — спрашиваю я Романтика, придя в общежитие.

— Старички наши пошли гулять на берег. Скоро придут, — не отрываясь от книги, отвечает Романтик.

Сбросив сандалии, я ложусь поверх одеяла.

На соседнем топчане, скрестив ноги по-турецки, сидят Баландин и Карпенти и перекидываются от скуки в карты. К ним подходит Конопатый из артели Вени Косого, смотрит на карты, краснеет, спрашивает:

— Где это вы, черти, достали такие карты?

— Одесса-мама! — отвечает Баландин.

Карты у них какие-то заграничные — не то испанские, не то итальянские, — с голыми бабами на обороте.

Перед каждым высится столбик из копеечных монет. И где только они их набрали?

Это особенно интересует подошедшего к ним Чепурного.

— В лото играли на шахте, — объясняет ему Баландин.

Играют Баландин и Карпенти в «очко». В банке у них не то пять, не то семь копеек.

— Может — сыграем? — предлагает Чепурной.

— Только на копеечные монеты! — строго предупреждает Баландин.

Чепурной и Конопатый роются в карманах, но ни у того, ни у другого не оказывается мелких монет. У Чепурного два пятака.

— А если сыграть на пятаки? — спрашивает он.

Баландин продолжает играть с Карпенти, молча указывая на прибитое к стене объявление. Там написано, что распивать спиртное, приводить баб и играть в азартные игры в общежитии строго воспрещено. На спиртное, говорят, тетя Варвара еще смотрит сквозь пальцы, если не затевается попойка, а к картам — непримирима.

Старожилы еще помнят случай, происшедший в прошлом году. Во время карточной игры подрались две артели и чуть было не разнесли барак. К счастью, вовремя подоспели стрелки из охраны порта.

Конопатый уходит, а Чепурной стоит, рассматривает «интересные» карты.

— Может... в «козла» сыграем? — спрашивает Баландин. В голосе его чувствуется издевка.

Чепурной с презрением смотрит на него.

— Не мог назвать более глупой игры!..

— А что ты подразумеваешь под «умной»? — Баландин молча протягивает карту Карпенти, берет себе, бросает карты — у него, видимо, перебор — и швыряет в банк проигранные две или три копейки.

Чепурной не удостаивает его ответом, уходит.

Шахтеры, зажав рот рукой, смеются ему вслед.

Но в это время в барак входит тетя Варвара. Голова у нее повязана полотенцем. Третий или четвертый день у нее сильные головные боли.

Она по-хозяйски идет меж топчанов, на одном поправляя подушку, на другом — одеяло, смахивает крошки со стола, поднимает кем-то уроненную бумажку. Потом, закинув руки за спину, подходит к шахтерам. Долго смотрит на их игру. Я вижу, как у нее сужаются глаза и руки сжимаются в кулаки. Выхватив тряпку из-за пояса, она двумя короткими, точно саблей, ударами крест-накрест расшвыривает карты далеко по бараку и тем же неторопливым,

полным достоинства шагом, идет дальше наводить порядок в бараке.

С визгом Карпенти кидается собирать карты.

— Вот чертова баба! — придя в себя от изумления, ругается Баландин. — Ведь на копеечки играем!

Тетя Варвара оборачивается:

— А в другой раз — изорву твои похабные карты. С меня-то спрос небольшой!

— Да ведь на копеечки! — кричит Баландин.

— Знаю я твои «копеечки»! Во сколько их оцениваешь-то?.. В рупь?.. В два?..

— Да что ты, бабка, сошла с ума? — Баландин смотрит по сторонам, показывает на меня: — Вон хоть у него спроси!

— Ну да, в копеечки! — вступаюсь я за него.

— А ты не лезь не в свое дело! — срезает меня тетя Варвара.

— Да что ты, в самом деле, бабка, никому не веришь? — повышает голос Баландин.

— Бабка, бабка! — передразнивает его тетя Варвара. — Ты, парень, врал бы у себя в Одессе-то. Мы здесь, в Баку, тоже не лыком шиты, видали таких залетных.

— Да что тут, право, за порядки у вас? — уже кричит Баландин.

— Тут, брат, матриархат! — отвечает ему Романтик, оторвавшись от книги. — Как скажет Варвара — так и будет.

— Вот дурачье! — Схватив пиджак, Баландин выбегает из барака.

Наспех сосчитав карты, за ним устремляется Карпенти.

В бараке все валятся со смеху. Даже Романтик оставляет книгу. Смеются до колик в животе.

Ай да тетя Варвара!

Открывается дверь, входят наши старички.

Я встаю, надеваю сандалии. Достаю из кармана деньги, чтобы вернуть Угрюмому старику. Не знаю, как передать ему мой разговор с его Зарой.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Я мучительно думаю, сравниваю: кто же самой трагической судьбы человек в нашей бродячей артели? Глухонемой, Угрюмый, Киселев?.. И прихожу к заключению: не они, не они, хотя у каждого свое горе. Скорее всего, это «Казанская сирота», Ариф Шарков. К тому же он и по возрасту тут старше всех, а главное — плохо видит.

Как-то в минуту откровенности он говорит мне, что у него пять процентов зрения. Да, это, наверное, так и есть. На улице Шарков осторожно переставляет ноги. Часто протягивает вперед руку, ощупывая заборы и стены складов. Или водит обеими руками перед собой, как это делают подслеповатые люди.

На работу или с работы Шарков обычно идет последним, замыкая шествие артели. Часто ему составляют компанию старики Глухонемой и Угрюмый.

Беда во всей этой истории с Шарковым еще в том, что ему приходится скрывать от окружающих свою слепоту. Не в бараке, конечно, — здесь ни от кого ничего не скроешь, — а в порту. Боится — придерется охрана труда, могут уволить. Потому он никогда не работает на носке груза, а стоит на подъемке.

Это тяжелая работа. Не зря на нее никто не зарится. Попробуй-ка за день перевалить на руках несколько тысяч пудов груза! Напарником же к Шаркову поочередно становятся все члены артели. Сегодня стою я. Грузим всяким барахлом, так называемым «смешанным грузом», пароходик, уходящий в Сальяны.

Для Шаркова работа на подъемке очень удобна. Он всегда надежно укрыт от посторонних трюмными стенами или же стенами склада, как, например, сегодня. Но удобства эти, конечно, относительные. Грузчик, работающий с паланом на носке груза, всегда имеет возможность отдохнуть, когда он устанет, покурить, когда ему захочется, не дожидаясь и времени перекура. А на подъемке этого не сделаешь. Здесь все время надо ворочать мешками, ящиками — грузчики не станут ждать, пока ты прохлаждаешься.

Потому-то, видимо, у Шаркова такие сильные покатые плечи — он работает раздетым до пояса, — мощная грудь, налитые руки с перекатывающимися мускулами. К тому же — руки у него длинные, обезьяньи. Такой двинет — мало не будет. Убьет!

Вон он как цепко хватает мешок за углы, высоко поднимает свою половину. Мне остается только приподнять мешок с другого конца, и Шарков сильным рывком опрокидывает его на палан подошедшего грузчика.

Во время перекура я спрашиваю его:

— Что тебя заставило идти в грузчики, Шарков? Кем ты был раньше?

Сняв с пояса фартук и накинув его на вспотевшие плечи, он садится спиной к стене. То же самое он советует сделать и мне. В мрачном полутемном складе, простреливаемом сквозняками, легко схватить воспаление легких. Этого он боится.

— Когда мальчиком был — в гончарной работал, — рассказывает «Казанская сирота». — Горшки и кувшины делал. Грязная работа!.. Потом подрос — коробейником стал. Бусы и ленты продавал. Всю Татарию обошел пешком. Но выручка нищенская, лишней копейки не перепадет. Стал лудильным делом заниматься. Неплохо жил. На одном месте не сидел. Сделал — торбу с инструментом за плечо и пошел себе дальше. В одной деревне лу-

дишь посуду, в другой — чинишь и паяешь. Вот кислота и разъела глаза. Конечно, и трахомой болел. — Вздыхает. — Да, нелегко теперь Шаркову. Много деньга нужна!

— Зачем — много?

— Надо купить комнату. Баку — хороший город, здесь всегда найдешь кусок хлеба. Потом — жениться надо. Дорогой подарок надо сделать невесте, ее родителям, родне.

— Жениться?.. А разве у тебя нет семьи? Жены, детей?

— Была семья, да все померли: жена, два мальчика, одна дочка. Мать-старуха тоже померла. Знаешь, тогда после войны был большой голод на Волге. Совсем нечего было есть. — Помолчав, он говорит: — Надо теперь новую семью. Невеста — есть. Хорошая девушка. Шестнадцатый год пошел, под Казанью живет, в деревне. — Вздыхает. — Но дорого за нее платить надо.

— Калым, что ли?

— Калыма у татар нет, но подарок есть. Хотя — один черт!..

— А почему бы тебе не жениться на какой-нибудь женщине? Выбрать себе по возрасту?

— Зачем мне вдовушка? — Он смеется. — Вдовушка скоро станет бабушкой. Мне молодая жена нужна. Кто меня будет кормить, когда я стану стариком?.. Пока мои глаза видят — я жену прокормлю. Когда совсем ослепну — жена меня прокормит. Если будут детишки — они подрастут, тоже помогут слепому отцу. Ведь я, черт, сильный, еще сто лет проживу. Вот пошел мне шестьдесят третий год, а кто скажет, что Шарков старик? Никто не скажет! Руки — видишь какие, мускулы — видишь? Мне десять пудов пронести на спине — раз плюнуть. — Вздыхает. — Но, конечно, подарок дорогой. Большая деньга.

— Сколько же? — интересуюсь я.

— Триста рублей! Клади сюда еще за комнату пятьсот, на всякий шурум-бурум двести. Получится сколько? Тысяча получится, вот сколько.

— Да, тысяча, — говорю я.

— А где столько возьмешь? Большая деньга.

— А почему бы тебе с твоей силой не пойти работать в кадровую артель? Вон как много там зарабатывают! Меньше ста пятидесяти рублей никто не получает.

— Народ там шустрый. Видел — работают бегом. А я в двух шагах ничего не вижу. Плохи, брат, дела у «Казанской сироты».

Я задумываюсь над его судьбой. Да, Шаркову нужно много денег, чтобы на старости лет устроить свою жизнь. На одной зарплате тут ничего не сделаешь. Нужны дополнительные доходы.

Теперь я понимаю — не от хорошей жизни, придя с работы, он берет зембиль, набивает его кулечками и мешочками, в которых хранит рис, курагу, миндаль, кишмиш, что собирает в трюмах после разгрузки грузов, и идет в Черный город. У него там есть постоянные клиенты. В воскресные дни его можно видеть и на базаре. Сидит он там со своим нехитрым товаром под знойным солнцем до самого вечера. Чаще всего — продает все за полцены, но возвращается в барак веселый, возбужденный, звенит в кармане мелочью, ходит между топчанами, пристает ко всем:

— Не надо медь, серебро?

Охотники разменять деньги, конечно, всегда находятся.

Потом он рубли меняет на трешки и пятерки, а дорвавшись до червонца, прячет его в тайник в брючном поясе.

В брюках он всегда спит, боится, что украдут деньги.

«Сдалась ему невеста за трехсотрублевый подарок, — думаю я. — Когда он еще соберет столько денег?»

— Напиши письмо в Татарию, а? — точно следя за ходом моих мыслей, вдруг просит Шарков. — Отцу невесты напиши! Скажи: триста рублей — большой калым. Шаркову три года собирать. Пусть сотню сбросит.

— Напишу, — обещаю я.

— Сегодня напиши.

— Могу и сегодня.

— Напишешь, когда придем с работы?

— Ладно, — уж совсем твердо обещаю я.

— Шарков в долгу не останется. — Он встает, надевает фартук и, став в дверях склада, кричит на всю пристань: — Давай работать, ребятка. Хватит курить!

Первым, припадая на правую ногу, входит Иван Степанович. Он настороженно смотрит мне в глаза, точно испытывает: не сболтнул ли я про его «историю»?

Но я смело выдерживаю его взгляд. Эта пытка продолжается вот уж который день. При каждой встрече! Он ведь по-прежнему не слышит и не говорит.

Но тут в окружении остальных грузчиков нашей артели входит Горбачев.

Сегодня у старшого, видимо, была удачная ночь. Он «праздничный», в чистенькой сорочке, при галстуке, оживлен, весел.

— Выигрыш, старшой? — спрашивает Агапов, как-то ловко перемигнувшись с ним.

— Угадали, ребята. Выиграл у самого Кострова. Слышали про такого? — Горбачев устало машет рукой. — Где уж вам!.. У себя в Ростове он король бильярда. Частенько гастролирует: Баку — Тифлис — Одесса. И жена у него — этакая стервозная дамочка — ловко играет. На выигрыши только и живут. И живут, должен вам сказать, совсем, совсем не дурно.

— И как долго играл? — спрашивает Агапов.

— С восьми вечера до восьми утра. Первые две партии я проиграл, остальные выиграл.

Знатная была игра! — И старшой самодовольно улыбается, поглаживая свой галстучек.

— Король-то твой, считай, был дерьмовый! — режет правду-матку Киселев, но, видя вокруг осуждающие взгляды, замолкает.

Старшой багровеет и закидывает характерным движением руки за спину. Шагает взад и вперед перед нами.

— А мне и не с такими приходилось играть, как Костров. Вы что думаете — раз я старшой вашей «бродячей артели», так, значит, какое-нибудь там дерьмо? Нет, ребята, ошибаетесь. Играл я со многими знаменитыми игроками. Даже с одним народным комиссаром! Портреты его часто печатают в газетах.

Слова его производят впечатление.

— Кто же это может быть? — спрашивает Романтик.

— Ни к чему уточнять фамилию! — Горбачев многозначительно поднимает руку, требуя тишины и внимания. — Я играл даже с Маяковским — это было в его последний приезд в Баку.

— Это кто же таков — Ма-я-ков-ский? — спрашивает Киселев.

— Маяковский?.. Владимир Владимирович?.. — Старшой покашливает, чтобы не рассмеяться. — Стыдно не знать. Можно сказать, знаменитость.

— Не слыхал, — чистосердечно признался «С легким паром». — Я, считай, год-то с небольшим бегал в школу. Да что знал, вскорости позабыл.

— А ты? — обращается старшой к «Казанской сироте».

— Какой там еще Маяковский? — щурится Шарков, наклонившись к Чепурному.

— А вы? — Старшой оборачивается к старикам Глухонемому и Угрюмому.

Те виновато и беспомощно озираются по сторонам.

— Ну, был такой поэт, — говорит вызывающе Романтик. — Агитки писал за Советскую власть.

— Ай-я-яй, как это вы про Маяковского не слышали!.. — Старшой смотрит на всех с сожалением. — Он еще в прошлом году застрелился.

— Ну, так бы давно и сказал! — точно отгадав загадку, радуется Агапов. — Слыхал, слыхал! Из-за какой-то бабы, писали.

— Из-за бабы!.. — Горбачев снова багровеет. — Эх вы, серость! «Любовная лодка разбилась о быт», а вы: «Из-за бабы!»

Он машет рукой и идет в конец склада. Снимает галстучек. Ложится среди мешков с миндалем и кишмишем, чтобы никто его не видел. Правда, строго всем наказывает, чтобы перед шабашем его разбудили. А то уйдут складские работники, закроют на все замки входы и выходы, тогда придется здесь заночевать. С ним такое уже случилось однажды.

Через некоторое время старшой подает голос:

— Слышь, ребята! Если спросят меня из Моргагентства...

Агапов успокаивает его:

— Скажем, скажем: «Ушел на вокзал. На вербовку».

Тут раздается властный голос Шаркова:

— А ну, ребятка, давай работать!

Я становлюсь напротив него на подъемку. Первым подходит и покорно подставляет спину Глухонемой. Мы ему выбираем груз полегче, наваливаем на его палан кухонный стол.

* * *

После работы, разбудив старшого, — вспомнил о нем только Шарков! — я еще с полчаса болтаюсь на пристани, с ужасом смотрю на посадку пассажиров на наш грузовой пароходик, уходящий в Сальяны. Мест на его палубе, видно, не больше, чем на сто человек. А «баталию» у трапа ведет тысячная толпа.

Меня окликают. Я оборачиваюсь. Это Агапов машет мне рукой с палубы соседнего грузового парохода. Тот только часа два тому назад прибыл из Персии.

Агапов несет с парохода мешок с тремя большими арбузами. Подходит ко мне, говорит:

— Ребята подарили. Персидские арбузы! Сделай доброе дело — снеси их ко мне домой. Адрес я тебе дам — тут недалеко, на Красноводской.

— Снесу, конечно, — говорю я, помня, что я вечный должник Агапова, и даже радуясь такому случаю. — Делать мне особенно-то нечего.

— Ну и хорошо. А меня ребята зовут на шабашку.

Он достает огрызок карандаша, потрепанный блокнот, пишет адрес. Номер дома сперва ставит 17, а потом, рассмеявшись, переправляет на 23, качает головой:

— Надо же, забыл номер собственного дома! Старею.

Я сую записку в карман и взваливаю мешок на спину.

Агапов напутствует меня словами:

— Смотри, Докер, только не разбей мне арбузы!

— Не разобью.

И я иду к воротам.

Вахтер берет приставленное к стенке ружье, останавливает меня. Это меня сердит. Ведь хорошо знает каждого грузчика в лицо!

— Персидские арбузы? — спрашивает он, подозрительно косясь на меня.

— Нет, турецкие! — отвечаю я ему со всей дерзостью.

Но он не оскорбляется, а спокойно обходит вокруг меня.

— Знакомый матрос привез?

— Нет, незнакомый!

Вахтер поверх мешка поочередно щелкает пальцем по всем арбузам.

— Два хороших, одни — зеленый, — говорит он.

Я огрызаюсь:

— Много ты понимаешь! Персидские арбузы знаешь какие? Ел когда-нибудь? — И хочу сбросить мешок.

Но вахтер закидывает ружье на ремень, хлопает меня по плечу.

— Знаю, знаю. Иди себе и ешь на здоровье.

Я оборачиваюсь и невольно бросаю взгляд в конец пристани. Вижу Агапова. Он мне почему-то кажется неестественно напряженным. С чего бы это?..

На улице я кладу мешок на землю, пытаюсь развязать узел, но он крепко завязан. Я провожу рукой поверх мешка, ощупываю каждый арбуз в отдельности — арбузы как арбузы. Все круглые!.. Ощупываю со всех сторон мешок — мешок как мешок, ничего в нем постороннего.

Я взваливаю арбузы на спину и, успокоенный, теперь бодро шагаю по Большой Морской.

Но у кинотеатра «Эдисон» Агапов вдруг меня нагоняет. С ним какой-то парень. Кепка надвинута на глаза, руки засунуты в карманы брюк, погасшая папироска торчит в уголке его крепко сжатого рта. Где я его видел? Не на пятачке ли? Не за картежной ли игрой? Не из банды ли он «батьки Махно»?

— Знаешь, Докер, — говорит Агапов, — я, кажется, зря тебя побеспокоил. Тут вот свояк пришел. Пусть он и несет арбузы.

— Пустяки, я бы и сам донес, — говорю я.

Но парень в кепке властной рукой отбирает у меня мешок и закидывает себе на спину.

— А то хочешь — пошли с нами есть арбузы? Таких ты не едал. Персидские, — говорит Агапов.

Парень ухмыляется.

— Нет, спасибо, — говорю я. — Давно собираюсь в кино, я в кино пойду.

— Ну, будь здоров.

Агапов и парень уходят.

Я долго смотрю им вслед. Думаю: «Вот чертовщина! Что все это может значить?.. Зачем было выдумывать про шабашку?..» Но тут замечаю афишу у входа в «Эдисон». Идет американский фильм «Ревенгар». Нарисованы какие-то зверские лица в ковбойках. Наверное, что-то про золотоискателей Клондайка.

«Не пойти ли на самом деле в кино?»

Я вхожу в кинотеатр и тут попадаю в такую давку, что сразу же забываю и про Агапова, и про его персидские арбузы.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Шумит охрана труда! Никого не подпускает к пароходу!

Что же могло там случиться? Ах вот оно что: привезли хлопок из Персии. На этот раз не разрешают нашим грузчикам разгружать! Почему? Да потому, что тюки тяжелые, прессованы на восемь пудов. Предельная же норма носки груза, установленная недавно охраной труда, — шесть пудов.

Наши «бродяги», конечно, согласны: права охрана труда. На то и существует Советская власть, чтобы заботиться о своих грузчиках. Шутка ли сказать — восемь пудов! А ну-ка взвали такой тюк хлопка на спину Угрюмому или Карпенти, Агапову или Чепурному! Выдержат? Нет, свалятся. Вторую грыжу вряд ли захочет нажить Глухонемой.

Согласны и две другие сбежавшиеся к пароходу артели. Но не согласна артель Веии Косого. И не столько артель, сколько сам Веия. Вон как он машет своими пудовыми кулачищами, угрожая работникам охраны! Хорошо, что у нас Горбачев такой смирный. Мне кажется, что в эти минуты все наши «бродяги» хорошо думают о нем, хотя, конечно, у каждого имеются к нему претензии.

А Веия Косой все шумит! Обычно — все боятся его, исполняют его волю, дают ему лучшие и выгодные работы. Потому-то, говорят, со временем он и стал таким наглым и нахрапистым. И голос у него стал громовым. А тут — нет, не боятся! Спокойно выслушивают работники охраны труда его отборные ругательства и говорят: нет! В особенности своим независимым видом Веию Косого выводит из себя девушка в синеевом берете, какая-то там помощница начальника.

Разъяренный Веия Косой бежит жаловаться в Морагентство, Гусейну-заде. Боится упустить выгодную работу. Артель-то у него работает сдельно! Это ведь потом отразится и на его зарплате.

А тем временем приходят персидские грузчики, специалисты по хлопку. Их у нас в порту две артели. Работают они по договору и неподвластны нашей охране труда. Там, в договоре, даже есть оговорочка по этому поводу, насчет грузов, прибывающих из Персии. С их стороны, конечно. Это и дает им большие преимущества перед нашими грузчиками.

Персы — люди трудолюбивые. Артели их после гаджиевской, ударной, считаются лучшими в порту. Мужики они высокие, плечистые, один к одному. Но какие-то все пришибленные, невеселые. Не шумят, не смеются, не дурачатся, как наши грузчики. Да и старшой у них настоящий жандарм, все время покрикивает на них и ругается. Вот бы к ним нашего Веию Косого!..

Поставив на подъемку четверых человек, персы начинают выгрузку. Сразу видно — дело это им привычное. Ведь до приезда в Советский Союз они у себя в Персии в основном работали на хлопке и на рисе. Рис тоже ведь что-то ве-

снт! А у нас к тому же за выгрузку тяжелых грузов им платят по самым высоким тарифам. Хлопок персам сейчас как нельзя кстати. Скоро у них кончается срок договора: надо уезжать домой, сделать последние закупки. Ведь и приехали они к нам за тем, чтобы обеспечить себя на несколько лет. С работой у них там трудновато, да и платят копейки.

Артели расходятся по другим пристаням. Наша же «бродячая» остается. Что-то нам припасли, к концу дня обещают какую-то работенку. Наверное, что невыгодно другим, кадровым артелям. Бревна, например, стекло или спички.

— Не перекинуться ли нам в картишки? — спрашивает Баландин у Карпенти. — А то чертова баба не даст поиграть дома.

— Пошли! — Карпенти подтягивает штаны, кивает Киселеву. — Поищем тень за пакгаузом.

Карпенти с Баландиным уходят. Проходит несколько минут.

— Нешто мы хуже других? — Киселев толкает Шаркова в бок. — Пойдем-ка и мы в холодок.

Я встречаюсь с ним взглядом. Он отводит глаза и густо краснеет. Нечего сказать, схитрил!

Шарков, конечно, охотно соглашается с ним, и они тоже идут искать «тень». Интересно, когда это они успели договориться с шахтерами? Судя по всему, разок-другой они уже успели перекинуться в картишки. Вот черти!

Наши старички бродят по пристани. Я же снимаю рубаху, наматываю ее на голову и ложусь подремать, подставив спину солнцу.

Позади меня сидят Чепурной и Романтик. Они о чем-то беседуют. Сперва я не обращаю на них внимания. Но потом, когда Чепурной повышает голос, невольно прислушиваюсь.

— Да и кулака б я не трогал, — говорит Чепурной. — Он тоже мужик. К тому же хозяйственный мужик! Хлеб-то у него, товарищ Романтик?

— Чудак! — добродушно отвечает ему Романтик. — Вот потому-то его и хотят раскулачить.

— Терпит Советская власть всяких спецов? Инженеров, профессоров? Терпит!.. А почему?.. А потому, что своих-то нет. Так и кулака надо б терпеть. Он тоже спец в своем деле. Профессор!

— Пока колхозы набирали бы силу?.. Старая байка! — смеется Романтик. — Об этом только и мечтают правые уклонисты. А кулак тебе такое показал бы!..

— А ну тебя к черту с твоими уклонами! Тьфу! — плюется Чепурной и вскакивает. — Пойду-ка лучше сыграю в картишки, — и уходит.

Не поднимая головы, я спрашиваю:

— О чем это вы?

— Да все о том же — о жизни! — Романтик вздыхает и тоже уходит. Я поднимаю голову. Он прячется в уголок. Садится на корточки. Достает из кармана книжечку.

Я кладу голову на руки и, прикрыв один глаз, смотрю в щель между досками. Там, внизу, вокруг позеленевших бревен, плещутся иссиня-изумрудные волны. Рыщет поверху мелкая рыбешка. Я нащупываю в кармане хлебную корку, крошу ее, бросаю вниз. Молнией, со всех сторон, на хлеб кидаются мальки. Вода прозрачная, и видно, как они дерутся из-за каждого крохотного кусочка.

Я переворачиваюсь на спину. Прикрыв лицо кепкой, наслаждаюсь солнцем и особенно — тишиной. Но только какое-то время. Потом отовсюду до меня доносятся шумы.

Вот грохочет лебедка, слышно яростное шипение пара. «Вирай, вирай помалу!» — кричат на одном из пароходов. Ему вторит «майна» на другом. Мерно стучат копыта лошадей по пристанским доскам — гонят вагонетки. С какой-то далекой пристани доносится веселая «ялла!» гаджиевских ударников. Перекликаются резкими гудками буксиры. Да и волны яростно бьются о пристанские сваи.

Я делаю для себя открытие: оказывается, человек с закрытыми глазами больше слышит, чем с открытыми! Не потому ли слепые так хорошо ориентируются на улице по всяким шумам и почти всегда безошибочно переходят улицу в безопасном месте?

Истошно короткими гудками басит пароход, просит освободить место у причала. Я приподнимаю голову. Это подходит «Иран» к 16-й пристани.

Но тут сзади меня тормошат. Это — Шарков, «Казанская сирота».

— Давай, какая у тебя есть мелочь! — говорит он. — Знаешь — заставили шахтеров сыграть в картишки! У них много деньга! Я вот такую пачку видел у Баландина.

Я достаю из кармана всю мелочь, выбираю из нее серебро, а медь протягиваю Шаркову.

На ощупь перебрав монетки, он возвращает их мне:

— Ты серебро давай! Гривенники давай! На медяшки сегодня они не играют.

«Так, значит, была права тетя Варвара?» — усмехаюсь я про себя и, взяв у Шаркова медь, отдаю ему серебро.

Он бежит от меня и не спотыкается! Вот чудо!

Я снова ложусь лицом вниз, подставив спину жарким лучам солнца. И, видимо, некоторое время дремлю.

Снова меня тормошит Шарков.

— У тебя легкая рука! Смотри — выиграл три рубля! — Он звенит серебром. Садится рядом на корточки. — Может, так и на калым соберу? — Смеется. — Как думаешь, скоро придет ответ из Казани?

— Рано еще. Мы же только послали письмо.

— В карты мне везет!

Прибегает и возбужденный Чепурной. Этот выиграл что-то около семи рублей.

— А кто там у вас проигрывает? — спрашиваю я.

— Да шахтеры! Совсем не умеют играть. И Киселев немного проиграл, — говорит Чепурной.

— И мне, что ли, попытать счастья? — говорю я, вставая. Разматываю на голове рубашку.

— Пойди, пойди, лишний рубль не помешает! — И Шарков сует мне в руку взятое серебро.

Но тут появляется наш старшой. Говорит:

— Собирайтесь, ребята, на шестнадцатую пристань. Пойдем разгружать «Иран».

* * *

Я почти что угадал, какая работа может быть припасена для нас. Правда, это не бревна, не соль, не спички, от которых грузчики бегут, как черт от ладана. Но такой же малопочтенный груз, хотя... всего-навсего живые петушки и курочки. Да, да, самые настоящие петушки и курочки, кудахтающие в клетках, которыми заставлена вся палуба «Ирана». У них красные гребешки, а сами — беленькие-беленькие, без единого пятнышка на перьях! Везли их из самой Америки, чуть ли не вокруг света, потом на машинах — через Персию до порта Пехлеви, а оттуда — к нам. Говорят, ценная порода, куплена специально для колхозов.

Представитель таможни, собрав всех нас на палубе, держит по этому поводу целую речь. На пароходе и на пристани всюду поставлена усиленная охрана: местная — какие-то подслеповатые старички с древними бердайками, пароходства — бойцы в полугражданской и полувоенной форме, больше похожие на пожарных, но с винтовками, и пограничники — бравые ребята с карабинами.

— За каждого цыпленка плачено десять рублей золотом! — говорит с пафосом представитель таможни. Мужик он какой-то потешный, криворотый и кривобокий, в потертом костюме, с вылезшим из-под воротника галстуком, в старенькой, выцветшей на солнце, форменной фуражке. — Эта порода называется «леггорн». Запомните?.. Лег-горн! Лег-горн! — рубит он, постукивая носком ботинка, точно произносит слова команды: «Раз-два, раз-два!» — Лег-горн, лег-горн!

— Лег-горн, лег-горн! — повторяем мы за ним, давясь от смеха.

— Смеяться нечего! Что тут смешного? — кричит он на нас, дернув себя за галстук, который вылезает еще больше. — Так вот — леггорны! — Он гипнотизирующе смотрит на нас. — Порода эта отличается высокой яйценоскостью. То-то разбогатеют наши колхозы!.. Каждая курочка дает до двухсот яиц в год, а рекордсменки — и все триста! Это вдвое больше яйценоскости наших отечественных курочек. — И в таком роде он продолжает просвещать нас, пока Чепурной не прерывает его:

— Так это, выходит, золотые курята, товарищ начальник? — Скосив на него левый глаз, Чепурной, усмехаясь, почесывает себе подбородок. — Может, они и золотые яички будут нести для колхозов?

Тот рад уцепиться за «золотых курят», не заметив иронии Чепурного.

— Нет, не золотые, а брильянтовые курята! — повышает голос таможенник, поднявшись на носки. — А почему брильянтовые, спросите вы, товарищи грузчики? — Он снова дергает себя за галстук, который на этот раз, как дрессированный, влезает обратно под воротник. Вот ловкач! — Да потому, что до места довезли только третью часть этих цыплят! Остальные подохли в пути. Каждый цыпленок теперь ценится в двадцать пять — тридцать рублей золотом! Шутка ли сказать!

— Брильянтовые цыплята! — ахают вокруг.

— Считай, тогда в колхозах наступит райская жизнь? — снова язвит Чепурной. — Бриль-янт — он дороже золота! — Он все почесывает подбородок, с усмешкой глядя на таможенника.

А тот ничего не замечает! Радуется себе!

— Вот именно — брильянтовые!.. — Даже потирает себе руки. — Потому попрошу вас, товарищи, проявить к брильянтовым цыплят-кам человечность! Народ вы аховый, поднял да бросил. Знаю вас! — Он грозит нам пальцем. — Не кидайте и не швыряйте клетки!

Тут подает голос Баландин:

— Скажи, товарищ начальничек... — Он обворожительно улыбается во весь рот, на зависть всем выставив сахарной белизны зубы. Таких ни у кого в артели нет. Да и во всем порту я не видел.

— Что тебе? — грозно выкрикивает таможенник, видно оскорбленный его фамильярностью.

Баландин, продолжая улыбаться, делает полшага вперед.

— Вот если пожарить эти «леггорны», на сливочном масле, конечно! — так они по своему вкусу будут похожи на наших расейских курочек?.. Или у них другой вкус?.. Американский?..

— А ты вот попробуй! — подает голос Агапов. До этого его не было слышно.

Вокруг все ржут. Смеется даже Глухонемой старик.

Таможенник багровеет.

— Ваша глупая шутка совсем здесь неуместна! — обрывает он Баландина и обращается к старшому: — Горбачев, ты головой отвечаешь за каждую курочку!

И уходит разъяренный, выставив вперед правое плечо.

А Баландин кричит ему:

— А еще бы, товарищ начальничек, интересно спросить: сколько курочек подохло на самом деле и сколько сожрала команда парохода?

— Ну, ну! — раздается окрик с капитанского мостика. — Смотри, герой, как бы тебя не вышвырнули за борт!

Но старшой опережает назревающий скандал, дает команду начать выгрузку.

Мы с Киселевым подходим к одной из клеток. «С легким паром» умильно смотрит на цыплят, лезет в карман, достает хлебца, крошит им.

— Скажи-кась, какая заботушка о колхозах! Неужто эту породу разведут и у нас в деревне?

— А почему бы нет? — говорю я. — Сперва их разведут в другом месте, потом раздадут по колхозам. Может, и в ваш колхоз.

— Н-да! — вздыхает «С легким паром». — Взяли, што ли? — Он берется за низ клетки, приподнимает свой конец.

— Взяли! — говорю я, берясь, по его примеру, за низ клетки.

Так, на руках, мы бережно несем клетку по палубе.

Баландин позади нас хохочет, орет:

— Ребята, проявим к цыпляткам человечность?

— Проявим! — отвечает ему Карпентин, тоже заливаясь смехом.

Схватив клетку, они бегут по палубе и пристраиваются к нам на трапе.

* * *

Вернувшись что-то около одиннадцати в общежитие, я вижу во дворе Киселева: сидит себе на скамейке, скучает. Оказывается, ждет меня. Протянув два письма, говорит тревожно:

— Приходил этот криворотый из таможни. И начальничек пристани. Допрос учинили нашим.

— А что случилось? — Я подхожу к свету, смотрю на конверты. От Виктора и Сашко.

— Да с пристани, вишь ли, унесли две клетушки с цыплятками. Может, знаешь, чья работенка?... По четырнадцать штук в каждой!

— Понятия не имею! — Подозрение у меня сразу же падает на Баландина. — Наши все дома?

— Все. Недавно повечеряли и полегли спать. Правда, Баландин со своим дружком малость еще побарахлили. Все сокрушались: курятинки заморской не попробовали! Но тоже дрыхнут. Не они унесли клетушки!.. Да-а-а, — вздыхает Киселев. — Народец! Я бы этих гадов!.. — От возмущения он не знает, какую бы кару придумать ворам.

— Кто ж мог все-таки унести? — вслух размышляю я.

Но Киселев не слышит меня, сам размышляет:

— Двадцать восемь заморских несушек — это, считай, целый капитал. И у меня были курята. Так повернешь, — пятидесяти яиц не давали в год. А тут тебе двести али триста штук!..

— Кто ж все-таки мог утащить цыплят?.. Задача! — Я вхожу в барак. Подсаживаюсь к столу. Хорошо, что тихо, все спят. Рядом садится Киселев.

— Надоть думать, пристанские. Кому еще? Как унесешь при такой охране? Не иголка, чай...

Но я уже не слушаю Киселева, читаю письмо от Виктора. Оно меня очень тревожит...

«Ты не знаешь, что творится с Ларисой? Она мне пишет какие-то странные письма. Кто-то там в Москве заморочил ей голову «любовью»! Нашла время для любви, дура!..

Она пишет, что сделала для себя открытие: она красивая! За нею, видите ли, ухаживают! Она ведет светский образ жизни, шляется по театрам, кино, паркам, кафе! Ей уже предложили руку и сердце (вот болваны!) один молодой врач, один бывший нэпман, один студент, и у нее есть еще двадцать других поклонников! Как тебе все это нравится? Может — она уже целуется с кем?

Она пишет, что раздумала подавать на языки, хотя туда совсем не трудно поступить, а подала в театральный, по совету своей тетушки — этой Марины Пржиемской!

Была в Баку девка как девка, а в Москве выкидывает фортели. Мечтает стать киноактрисой! Ей не дают покоя лавры американских «звезд»! Что делать с этой дурой — не знаю, немедленно напиши, дай телеграмму».

С минуту я сижу ошарашенный письмом. Ай да Лариса! Ничего не скажешь — выкинула номер. И откуда она взяла, что красавица, кто это вбил ей в глупую башку? Смех один — и только!

И тут же пробую сочинить телеграмму, чтобы с утра пораньше снести на почту. Пишу: «Надо выехать Москву заставить поступить на языки».

Не радует меня и письмо Сашко. Оно на трех страницах, очень подробное, но до смысла мне никак не дойти. Он волновался, наверное, когда писал, и меньше всего думал о смысле. А может быть, дело не в нем, а во мне? Уж очень я устал сегодня, голова гудит и плечи болят, и так хочется спать! Сумасшедший же денек выдался!

Но в общем можно догадаться, о чем пишет Сашко. У него там какие-то нелады на шахте, кого-то он уличил в жульничестве, и вот теперь на него гонения.

Не раздеваясь, я ложусь поверх одеяла.

Эх, Сашко, Сашко! Что с тобой делать?

Да, рискованно было его одного отпускать в Донбасс, хотя там у него есть родственнички. Надо было или вместе с Виктором отправить в Ленинград, или оставить в Баку. Докерили бы вместе!

Тут, виднмо, я и засыпаю.

Среди всяких снов — в который раз! — мне снится «Бой на баррикаде». Но, в отлнчие от прошлых снов, сегодня я отчетливо вижу город, в котором нахожусь. Медленно я бреду по его широкнм улицам, мощенным удивительно гладким зеленоватым диабазом. «Хорошо бы таким камнем замостить улицы Баку, — думаю я, — а то арбы и дроги сильно грохочут по булыжнику. И пылн тогда было бы меньше при нашем бакинском норде». С интересом я поглядываю по сторонам: всюду — красивые дома с причудливыми островерхнми крышами, утыканные башенками и флюгерами всех размеров, н магазины, магазины с громадными светящимися вывесками. Вывески как будто бы написаны по-немецки, но когда я начинаю их читать по слогам, они звучат на каком-то другом, незнакомом мне языке.

Я миную площадь с высокой колонной, на макушке которой высится вздыбленный конь с всадннком, н тут вижу улицы, веером расходящиеся во все стороны. По ним идут тысячные толпы с плакатами и транспарантами. Это забастовщики: докеры, шахтеры, металлнсты.

Я оглядываюсь по сторонам, ищу полицейских, но нигде их не вижу.

«А, гады, — радуюсь я, — сдрейфили на этот раз? Испугались народного гнева?.. Да, такой демонстрации вам не приходилось видеть. Теперь — все! Теперь — народ возьмет власть в свои руки!»

И вдруг — смятение в передних рядах. На одних улицах народ шарахается в сторону, на других — начинает строить баррикады. Из разбитых витрин выволакивают мешки, ящики, бочки.

Я оборачиваюсь — н с ужасом вижу: со стороны площади, извергая пламя из пасти, несется сотня кровавых собак. Я пытаюсь кричать — н не могу. Я пытаюсь бежать — и не в силах сдвинуться с места.

Самая большая кровавая собака бросается ко мне н с разлету хватает за руку выше локтя. Я чувствую, как ее зубы все глубже и глубже вонзаются в меня н доходят до кости.

«Это же главная кровавая собака! Это же Зеверинг!» Я снова пытаюсь кричать, но крик застревает у меня в горле.

Просыпаюсь я от боли в отекшей руке. Я весь в поту. Сердце сильно колотится.

Медленно я раскрываю глаза. Долго не могу прийти в себя. Потом — оглядываюсь по сторонам. В бараке полумрак. Видимо, полночь. Все крепко спят. Даже Глухонемой старик! С недавних пор он тоже стал спать. А жаль! Так хочется кому-нибудь рассказать про этот необыкновенный сон. Сейчас же! Пока не забыл!

В досаде я кладу голову на подушку — и снова засыпаю.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Мы идем с Шарковым на пустырь. Играют здесь за чахлой акацией, в ложбиночке. Игроков человек восемь. За ними стоят и сидят еще человек десять. Эти, надо думать, случайные зеваки. У них скучающие, безучастные лица.

Банкует Баландин. Перед ним лежит гора мятых рублевок. Но много трешек и пятерок. Мелькают н червонцы. В банке, наверное, рублей семьдесят или около этого.

— Бери карту, — шепчет «Казанская сирота» и толкает меня в середину круга.

На нас цыкают, велят садиться и ждать очереди.

Раза два банк рвут по частям. Но небольшой остаток все же не снимают. И Баландин терпеливо его растит. Играет он весело, так и сыплет шутками.

Иное дело его кореш — Карпенти. Хотя он тоже может быть весельчаком! Но при картежной игре он удивительно меняется. Лично у меня от его тяжелого взгляда всегда болит голова, рябит в глазах. Видимо, сейчас он уже вышел из игры и занят только тем, что считает и пересчитывает деньги в банке, собрав их в кепку.

— Карту нам, — то и дело канючит Шарков, но ему велят ждать.

Он ругается по-татарски и от нетерпения опускает мне кулак на спину. Тяжелый кулак, ничего не скажешь!

Но вскоре очередь Шаркова все же подходит. От радости он сразу ставит десятку. Берет карту и, зажав ее в ладони, водит перед самым носом. Наклоняется ко мне. Восьмерка пик! Берет вторую карту. Водит перед носом. Показывает мне. Семерка бубен! Задумывается. Есть из-за чего. И решительно тянется за третьей картой. Дама черви! Восемнадцать!

Снова его тяжелый кулак опускается мне на спину. На этот раз от радости.

Баландин открывает свою карту. Десятка пик! Берет карту. Шестерка червей. Шестнадцать! Что он еще откроет? Открывает бубнового короля! Двадцать!

Вокруг орут, хохочут, кричат, издеваются над Шарковым.

— Эх, мордвин, нос подвинь! — кричит Баландин.

— Брось, ребятка! — сердится Шарков и, щурясь, внимательно смотрит на окружающих, хотя это ему совсем н ни к чему.

— Может, отыграешься?

Право Баландина забрать банк, но он великодушно предлагает продолжить игру.

Шарков соглашается. Партнеры — тоже: уж больно большой банк, жаль с ним расставаться.

Начинается новая партия. На этот раз с Шаркова, слева направо.

Карпенти пересчитывает банк. Там восемь-

десят пять рублей. Баландин бросает в кучу еще пятнадцать. В банке — сто рублей! Или его сорвут, или же Баландин наберет триста рублей.

Шарков достает двадцать рублей. Берет карту. Вторую. Третью. Четвертую! Три короля и дама! Тянется за пятой — туз! Перебор!

Швыряет карты Баландину в лицо. Тот хохочет. И мы идем домой.

Но на полпути Шарков останавливается. Что ему еще взбрело в голову? Я пытаюсь его увести. Но он упирается. Потом — поворачивает обратно.

— Ну и шут с тобой! — кричу я ему вслед. — Что я тебе — нянька?

У барака я встречаю Киселева. Рассказываю о проигрыше Шаркова.

— Продуется наша «Казанская сирота»! Пошли выручать! — Он хватает меня за руку, и мы бежим на пустырь.

Игра в разгаре. В банке триста сорок рублей. Идет последний круг. Теперь справа налево.

Деньги отсчитаны. Сложены в кепку. Придавлены камнем.

Только Карпенти хмуро смотрит из-под бровей, не меняя выражения лица. Остальные же выглядят безумцами с лихорадочными глазами.

— Чтобы веселее было играть, — говорит Баландин, — отдаю банк за полцены. Рубль ставишь — два берешь! Два проигрываешь — рубль даешь! Кому карту?

Да, заманчивые условия. Где еще найдешь такого щедрого банкомета?

Лицо у Киселева становится до невозможности багровым. Дрожащей рукой он лезет за пазуху, достает деньги.

Ставит двадцатку — и проигрывает.

Теперь мне приходится тянуть за рукав обоих — Шаркова и Киселева.

Но они смотрят на банк как завороженные, на все мои просьбы идти домой отвечают что-то нечленораздельное. А потом Шарков как шуганет меня! Лечу я шага на три, но удерживаюсь на ногах. Вобрав голову в плечи, растопырив руки, точно готовясь к драке, он расшвыривает соседей, лезет в середину круга, ругает Баландина последними словами, мешая русскую и татарскую речь, требует карту.

Баландин, протянув в левой руке колоду, продолжает широко улыбаться, говорит:

— Только чур: деньги на кон!

Шарков, задыхаясь от волнения, лезет за пояс, достает из потайного кармана платок с деньгами, швыряет его Карпенти.

«Он с ума сошел!» — с ужасом думаю я.

Карпенти пересчитывает деньги: семьдесят рублей!

Баландин дает карту, берет себе.

Киселев — слева, я — справа смотрим на карту Шаркова. Дамочка бубен! Неважнецкая карта!.. Потом к нему идет семерка треф, король червей и десятка пик. Пе-ре-бор!

Вокруг все ахают, но тихо, деликатно. И Шарков не ругается. Притихший, нашептывая что-то по-татарски, молитву, что ли, он вылезает из сомкнувшегося вокруг Баландина круга, уступая место Киселеву.

— А с тобою, друг, мы сыграем вот так: один к четырем, — говорит ласково Баландин, заглядывая ему в глаза. — Проигрываешь — плати рубль, выигрываешь — бери четыре. Согласен, друг?

— Неужто говоришь правду? — как безумный кричит Киселев, ставит тридцатку... и проигрывает!..

Все понимают. Играть с Баландиным, конечно, бессмысленно. То ли ему и на самом деле идет карта, то ли он жульничает, но очень тонко и умело. Но на жульничестве его никто не ловил. Играет как будто бы честно.

Вот только не нравится мне роль Карпенти в игре. При копеечном банке — он самый активный игрок, шумит, кричит больше всех, а как только затевается большая игра, он сразу же проигрывает свои несколько рублей и потом тихо сидит до самого конца, исподлобья глядя всем в глаза, считая и пересчитывая банк, выполняя роль непрошеного помощника банкомета. Он, конечно, ничего не подсказывает Баландину, не подает ему никаких знаков — это бы сразу заметили, — и все же Карпенти в чем-то главном помогает Баландину. А в чем — мне не угадать.

А Баландин, уминая деньги в кепке, говорит, подзадоривая всех:

— Чужие деньги мне не нужны. Отдам банк задарма. За сотню! Кто хочет?

— Врешь, Баланда! — кричит Шарков, размахивая перед его носом кулаками.

— Ей-богу! — божится Баландин. — Тут рублей шестьсот. Ставь сотню и рви банк!

«А начали играть по копейке!» — снова с ужасом думаю я, глядя на деньги, сложенные в банке.

Но рвать банк за сотню находится много смельчаков. Еще бы! Можно сразу стать богачом, ни к чему тогда год работать в порту.

У кого еще есть деньги — разбегаются в разные стороны и, бешено оглядываясь друг на друга, но в то же время не выпуская из виду Баландина, следя за каждым его движением, роются в своих одеждах, доставая спрятанные капиталы.

Первым играет нетерпеливый Шарков. Карта к нему на этот раз идет хорошая — восьмерка треф и девятка бубен. Но в каком-то сумасшедшем угаре он тянется за третьей картой. Ахаю я, ахают все! Почему «Казанская сирота» вдруг решает взять прикуп к семнадцати — остается для всех тайной.

К нему идет шестерка пик! Перебор!

Но Шарков вдруг отшвыривает третью карту, кричит:

— Я, ребятка, эту карту взял против своей воли!

— Не сошел ты с ума? — в наступившей тишине спрашивает Карпенти, как-то нехорошо посмотрев на Шаркова.

— Против воли, против воли! — кричит Шарков, все больше ожесточаясь, и пытается вырвать свои деньги из рук Карпенти.

Но над ним смеются, жестоко смеются — и игроки и зеваки, а больше всех Баландин, — и Шарков, со слезами на глазах, отходит в сторону.

С ходу рвет банк Киселев — та же история, проигрыш!

Схватившись за руки, Шарков и Киселев ревут, как дети, положив голову друг другу на плечи. Заплачешь! Ведь я знаю, с каким трудом им достались эти деньги.

Обозленные, рвут банк и остальные. Недобор. Перебор. Перебор. Перебор. Недобор. Недобор. Перебор.

Последним играет Конопатый. До этого, не сводя алчных глаз с банка, затаив дыхание, он только смотрел, как играют и продуваются другие. А тут решился сам попытать счастья.

Но и ему не везет. Он тоже перебирает: берет к шестнадцати очкам девятку бубен!.. Карпенти не успевает дотянуться до его денег, как Конопатый хватает их, пытается встать и бежать. Его ловят, не дав даже подняться на ноги. Сунув деньги за пазуху, Конопатый орет благим матом:

— У него дурной глаз! Дурной глаз! Дурной глаз!

— У кого это дурной глаз? — изменившись в лице, спрашивает Баландин, собирая деньги в кепку. Впервые я вижу его неулыбающимся. Он выглядит так странно! Точно надел маску.

Конопатый хватает Карпенти за грудки. С его силой гориллы он ведь может этак и душу вытрясти. Но Карпенти ловким ударом бьет его снизу по руке, потом таким же коротким ударом под подбородок валит навзничь. Вскочив на ноги, Карпенти прижимает локти к бокам, готовый ко всяким неожиданностям.

Вскакивает Баландин, схватив кепку с деньгами.

Шарков подбегает к нему и, угрожающе размахивая кулаками, требует:

— Верни мой деньга! У твоего кореша дурной глаз!

— Дурной, дурной! — кричат вокруг, и громче всех — Киселев. — Верни деньги!

— Он, братцы, гипнотизер! — орет благим матом Конопатый. — Они оба жулики! Они и курочек украли на шестнадцатой пристани! Усыпили охрану!

— Жулики! Жулики! — кричат вокруг, но на курочек никто не обращает внимания. — Где это видано — собрать такой банк!

— У них крапленые карты! — уже встав, орет Конопатый, на всякий случай отбежав в сторону.

За ним кидается Карпенти. Все видят, как он достает из кармана складной шведский нож, на ходу раскрывает его, точно разламывая пополам. Штучка здоровая! И сверкает, как зеркало! .. Конопатый оборачивается, с ужасом в глазах отшатывается назад от блеска стали, но тут же нагибается, хватает первый попавшийся под руку камень и запускает его в своего преследователя. Камень острым углом, точно бритвой, рассекает щеку Карпенти. Кровь заливает его лицо. Он останавливается, словно встретив стену.

Тогда Баландин, рванув себя за ворот рубахи, сует полную денег кепку за пазуху и бежит на выручку друга. Выхватывает из-за пояса финский нож. Этот — раскрывать не надо!

Но за ним с криком: «Жулики, жулики!» — бросаются Киселев и Шарков, потом — еще человек пять продувшихся из артели Вени Косого. Они нагоняют Баландина и окружают его. Размахивая финкой, тот пытается проложить себе дорогу к Карпенти. Подбежавший Конопатый сильным ударом выше локтя выбивает у него нож из руки. Киселев поднимает его и сует в карман.

Баландин воет каким-то звериным воем, схватившись за локоть, и тут же получает такой удар от Шаркова в грудь, что кубарем летит на землю. Остальные бросаются на него и начинают топтать ногами. А Киселев хватает Баландина за шкирку, ставит на ноги и новым ударом валит на землю, отбросив его шага на четыре.

Схватив камни, Конопатый и Киселев бегут к Карпенти... но тут происходит неожиданное! .. «Зеваки» — их человек десять, что ли? — безучастно наблюдавшие за игрой, а потом за начавшейся дракой, кто с палкой, кто схватив камень, а кто вдевая пальцы в кастет, — нет не бегом, а какой-то вихляющей походкой! — идут им навстречу, готовые к бою. Кто мог знать, что это дружки Баландина и Карпенти?

Но отступать уже поздно. Наши грузчики все кидаются на помощь Киселеву и Конопатому. Тоже хватают, что попало под руку.

— Деньги! Деньги, Гарегин, возьми у него! — кричит Шарков, указывая на лежащего Баландина.

Я бегу к Баландину. Но, услыхав крик Шаркова, тот мгновенно приходит в себя, садится, а потом, покачиваясь, встает на ноги.

Ах, плевать на деньги!.. Я поднимаю подвернувшуюся под ноги какую-то железину и бегу на помощь своим, которые уже схватились с «зеваками», — молотя друг друга чем попало по голове, они катаются по земле, захлебываясь пылью, рыча как звери.

Я ищу глазами Карпенти, но того уже нет сре-

дн дерущнхся. Пропал! И тут же вижу, как наискосок через пустырь, в сторону Черного города, бежит Баланднн, скрестив руки на грудн.

Сзади я получаю такой удар по затылку, что врезываюсь носом в землю.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

— Гарегин!.. Эй, До-о-о-ке-ер!.. — кричит Агапов в трюм. — Вылезай наверх! Встречай свонх землячков.

— Каких это землячков? — крнчу я ему из трюма, отцепнв груз н бросив строп на крюк шкентеля. — Давай, внрай!

Но Агапов уже нсчез из проема трюма.

— Чертов стропальщик! — ругаюсь я. — Внра, внра!

Но лебедка молчит, не грохочет. Тогда я поднимаюсь на палубу. Конечно, на лебедке никого из матросов. И Агапов вместе с нимн торчнт у борта. А на пароход гуськом по трапу спускается большая группа необычных пассажиров. Это долговязые рыжеватенькие и белобрысые парни в юнгштурмовках. У каждого в руке небольшой чемоданчик. Трое несут барабаны вроде наших пнонерскнх.

Помощннк капитана встречает их на палубе поднятием сжатого кулака, приветствует:

— Рот фронт!

Пассажнры в юнгштурмовках дружно отвечают ему:

— Рот фронт! — и тоже подннмают сжатые кулаки.

«Да это же немецкие красные фронтовики! — соображаю я наконец. — Вот чудо — жнвые красные фронтовики!» Читать о них мне прнходилось в газетах, а вот видеть, к тому же так близко, — нет, хотя они часто приезжают к нам в последнее время. Вот недавно, напрнмер, в Баку побывала делегация, привезла знамя газеты «Роте фане» бакннским нефтяннкам.

Из трюма высовывается Романтик:

— Что это за нностранцы, Гарегин?

Я с гордостью отвечаю:

— Красные фронтовики. Из самой Германнн!

Романтнк исчезает, чтобы через минуту вытащнть всех наших на палубу. Но тут уже толпятся грузчикн из артели Вени Косого. Сегодня мы опять работаем вместе. Они — на подноске груза нз склада, мы — на укладке в трюме. Часа через два пароход должен уйти в Красноводск.

Ребята окружают немцев, кричат:

— Рот фронт! Рот фронт!

Те улыбаются, говорят что-то нашим, хлопают их по плечу. Романтнк лезет вперед, спрашивает:

— Скоро вы у себя дадите по шапке буржуям?

Немцы не знают русского и только улыбаются. Я чуть-чуть понимаю по-немецки, но не настолько, чтобы решиться переводить. Потому молчу.

А Романтик под хохот грузчиков, яростно жестикулируя, все громче н громче повторяет свой вопрос, точно вокруг стоят глухонемые, и строит уморительную рожу, пытаясь из себя нзобразить буржуя. Шарков напяливает ему на голову свою рваную шапку, обнажив здоровенную дулю на голове, залепленную пластырем, — след от недавней драки на пустыре. А Киселев, — у этого совсем уж пиратский вид! — ловкнм ударом сбивает шапку.

Вокруг раздается такой хохот, что к нам сбегаются грузчики н матросы с соседннх пароходов.

Немцы наконец-то соображают, в чем дело, смеются вместе с нами, кричат:

— Verstehen! Verstehen! Да, да, поннмайт! Bald, bald!.. Как это?.. Ошень скор!

Тут многие лезут к ним с вопросамн насчет мнровой революции.

Кнселев ищет меня глазами в толпе — вернее, одним глазом, второй у него прикрыт рассеченной н вздувшейся бровью, — крнчнт:

— Докер, может, побалакаешь по-ихнему?

И с чего это он вздумал, что я говорю понемецкн? Ах да, ведь я как-то прн нем и Агапове неосторожно обмолвнлся об этом! Вот теперь н наказан!

Я чувствую, как у меня начннают гореть уши.

А Кнселев хватает за руку главного у немцев, с гордостью указывает на меня:

— Наш Докер! Вскоростн махнет к вам в неметчнну!

— Wer ist Doker? Wer ist Doker? Кто есть докер? — спрашнвает немец и тычет себя в грудь: — Ich bin Doker, ich arbeite im Hamburger Hafen.

Это я понимаю легко. Даже пытаюсь переводить:

— Этот товарищ — докер. Из Гамбурга...

Но из сотни немецких слов, что я помню, я пытаюсь связать простейшую фразу по-немецки — и не могу. Не получается! А все на меня смотрят с такой надеждой!

— Ну! — орет Киселев. — Чего молчишь-то?.. Неужто все забыл?.. — И уж разочарованно: — Тоже мне, до-о-о-ке-ер!

К моему счастью, на палубе появляется переводчик, неся в руках кипу паспортов. Не зная еще, в чем дело, он издали спрашнвает:

— Что такое, ребята, что такое? Почему собралнсь?

Он думает — что-то случилось. А что могло случнться? Ничего не случилось.

Он очень радуется тому, что ничего не случилось, и начинает переводить вопросы наших грузчиков, подхватывая на лету только их смысл, ответы немцев, снова вопросы грузчиков, сбежавшихся на палубу матросов и пассажиров.

Происходящее на пароходе напоминает митинг. То здесь, то там выкрикивают лозунги.

Тогда главный у немцев, руководитель группы, поднимает руку, просит внимания. И начинает горячо говорить. Переводчик еле поспевает за ним. Немец рассказывает о положении в Германии, об угрозе фашизма. О выступлениях рабочего класса в Гамбурге, Бремене, Касселе. И снова об угрозе фашизма.

Слушают его внимательно. У меня руки сами сжимаются в кулаки. «Не к этому ли я видел сон с кровавыми собаками?»

Потом немец говорит о нашей стране, о наших успехах на хозяйственном и культурном фронтах, что является лучшей помощью пролетариям всего мира. От имени рабочего класса Германии и Союза красных фронтовиков он передает нам революционный привет.

Криком «Рот фронт!» отвечает ему вся палуба.

Барабанщики лезут в карманы, достают по горстке значков.

Мне бы тоже протянуть руку за значком, радоваться бы вместе со всеми, но я незаметно выбираюсь из толпы, иду на корму.

«Тоже мне, докер, — казню я себя словами Киселева. — Двух слов не мог сказать по-немецки, болван».

Мрачно в эту минуту я смотрю на свое будущее. «Как же ехать за границу без знания языка? Как же я раньше не подумал об этом?»

Спасительными мне сейчас кажутся слова тети Варвары: «А разве у нас все уже сделано, чтобы ехать в чужие края?»

Но меня окликают. Я оборачиваюсь.

Ко мне подходят руководитель фронтовиков и переводчик. Немец широко улыбается, горячо пожимает мне руку, что-то скороговоркой, но одобрительно, чувствую, говорит обо мне переводчику. Потом, несколько церемонно, прикалывает к моей рубахе значок красных фронтовиков.

Переводчик переводит:

— Он спрашивает: «Разве у вас не все работающие в порту называются докерами?» Что ответить? Может: «У нас их называют грузчиками, а по-местному — амбалами». Будет правильно? — И, не дожидаясь моего вразумительного ответа, отвечает сам.

— Груш-чи-ками! .. Ам-ба-лами! .. — повторяет за ним немец.

— А почему тебя называют докером? — Переводчик косится на меня. — Можешь объяснить? Что ему ответить?

— Могу, конечно, — отвечаю я, переминаясь с ноги на ногу. — Видите ли, здесь я работаю для практики... Через несколько лет думаю поехать в Германию, поработать в гамбургских доках...

Переведя, он спрашивает:

— И зачем тебе ехать в Германию?

— Ну, помочь немецким рабочим, — говорю я.

Тут переводчик взрывается смехом, не дает мне договорить, толкает немца в бок, лопочет ему что-то быстро-быстро по-немецки, оборачивается ко мне, говорит и по-русски:

— Раньше искатели приключений бегали в Америку, к индейцам. А теперь вот хотят бежать в Германию!

Но немец не смеется. У него очень серьезный вид.

Переводчик утихает и несколько торжественно переводит его слова:

— Это очень знаменательно, что молодой русский докер думает о судьбе немецкого рабочего класса! Очень знаменательно!

Немец отвешивает мне поклон, говорит:

— Danke schön, danke schön! — и — старательно — по-русски: — Спа-сибо, спа-сибо.

Но тут переводчик берет немца под руку и уводит от меня. Жаль, что я не могу без его помощи сказать фронтовику, что я думаю о немецком рабочем классе, как высоко ценю его боевые качества.

Уже вернувшись в трюм на перевалку груза, я кляну про себя последними словами нашу учительницу немецкого Эльзу Эдуардовну.

Из всеобщей любимицы она в моих глазах сейчас превращается в лютого врага. Я ее ненавижу!

А ведь столько лет мы в ней души не чаяли! Считали лучшей учительницей в школе! Чуть только она заболеет насморком — весь класс с подарками уже устремляется к ней домой. Заболей же наш Христофор Никитич, преподаватель математики, — это бы, видимо, вызвало только радость у нас. Строг! Мучитель! При одном упоминании его имени нас уже бросало в дрожь. А Эльза Эдуардовна — добрая!

Нашу любовь она заслужила тем, что никогда ни у кого не спрашивала уроков, никогда никому не ставила плохих отметок. Все ученики, без исключения, в том числе и я, конечно, получали у нее только «хорошо» и «удовлетворительно».

В отличие от других учителей, занятия у Эльзы Эдуардовны были на добровольных началах. Хочешь — занимайся, не хочешь — дело твое.

Не желающих заниматься всегда было больше, чем желающих. Кому охота зубрить немецкие глаголы?

Из класса в тридцать шесть человек всерьез немецким занималась только наша Лариса. Остальные шесть девочек, которые посещали

уроки ниостранного языка, самозабвенно читали толстые потрепанные романы.

А для мальчиков немецкий был «уроком футбола». Мы с перемены даже не возвращались в класс, чтобы хоть ради приличня показаться Эльзе Эдуардовне.

Оиа была добрая. Она говорнла, что не терпит наснлия.

И вот в какое зло обериулась ее доброта!

Обндио, что все это я понимаю только сейчас. Годнка бы на два раньше!

ГЛАВА ВТОРАЯ

— А нельзя ли нам как-нибудь отказаться от этой прелестн? — Агапов со злости даже пинает ногой крайннй мешок с цемеитом.

— Как же откажешься? Наряд-то даи нашей артелн, — отвечает ему старшой, зажав в отведенных назад руках по связке чериых противогазов.

Он сегодня иа работу пришел чуть свет. К тому же в «парадиой форме», при галстучке. Для большей солндности. Груз-то особеиный!

— А пойтн в Морагеитство, к Гусейну-заде, и сказать, — поучает его с обычиой своей наглостью Агапов, — цемеит в таком виде грузнть не будем! Так, что лн, ребята? — И он обводнт нас свирепым взглядом. — Вы как хотите, а я лично не собираюсь лезть в трюм.

За время, что я работаю в артели, мие прнходилось грузить и разгружать бревна, иефтяное оборудование, соль, нефть в бочках, стекло, спички, дранку н бог зиает что еще — самые тяжелые н самые легкие, но одииаково плохо оплачиваемые грузы, — а вот цемеит не попадался. Старожилы же говорят: кто не имел дела с цементом, тот не нспытал адовую работу грузчика, тот еще не грузчик.

Такая возможиость — грузнть цемент, получить боевое крещение — представляется иам сегодня. Но, к моему удивленню, это «крещенне» не только у такого аристократа, как Агапов, но и у других ие вызывает особой радостн. Один внд сваленных в кучу рваных бумажных мешков с цементом уже приводит нашнх артельщнков в уныние. И хотя старшой, размахивая противогазами, иапомииающимн собачьи иаморлинкн, говорит, что работать в них будет одно удовольствие, ему иикого в этом не удается убедить. Все молчат.

Чтобы как-то разряднть обстановку, я порываюсь сказать старшому, что готов грузить цемеит в любом виде, что мие, докеру, обязательио надо нметь опыт работы на цемеите. Но ои останавливает меня, обращается к Агапову:

— Конечио, цемент не мед, но его грузнть тоже надо. Где найтн — в целых мешках? Всюду их швыряют с места на место.

— А может, нам пойтн?.. Мы людн старые, иам все равио скоро помирать. — Угрюмый показывает иа себя и иа Глухоиемого.

Но Горбачев, не придавая значеиия его словам, продолжает убеждать Агапова:

— Этот цемеит еще имеет особый адрес: Сталинград, строительство тракториого завода. Вот штука какая! Потому-то вам, чертям, и дали, по распоряжеиию Гусейна-заде, противогазы, или, как их называют, — респираторы. Завод хотя выпускает трактора, ио там ведь еще строятся иовые цехи.

От того, удастся нли не удастся уговорить Агапова, зависит миогое. Старшой это хорошо зиает. Так уж заведено в артели, что в любых случаях работами негласно командует Агапов, а не ои, старшой. Но тут вдруг гогочет Чепуриой:

— Старшой подпускает политику под цемеит!

Если бы это сказал кто-либо другой, то, может быть, Киселев и не обратил виимаиия иа его слова. Но тут ои вскипает, вступается за старшого:

— А рази ие политика?.. Ежели завод будет делать трактора, куда они пойдут? В деревию, братец ты мой.

— Ты бы хоть молчал! — огрызается Чепуриой. — Политика, политика!.. Чего тогда бежал из деревии?.. Политик хреиовый!..

— А я, стало быть, тебя ие спрашивал, ваше кулацкое благородие! — Киселев багровеет до состояиия «с легким паром».

Чепуриой вскакивает и таицующей походкой приближается к нему.

— Это кто кулак, я?..

— Ты!.. И не кулак, а куркуль! — бесстрашио глядя ему в глаза, отвечает Киселев.

— Я тебя, гада, когда-иибудь задушу! — И Чепуриой хватает Киселева за грудки.

Вечно они как кошка с собакой!

Но тут все иаваливаются иа иих, разинмают, отводят в разные концы палубы. Оттуда оии продолжают поноснть друг друга последними словами.

— Раз ты такой по-ли-тик, вот и лезь в трюм! Грузи цемеит! — кричит Чепуриой.

— И спущусь! Нешто я работы боюсь? — кричит в ответ Киселев, дрожащими пальцамн расстегивая пуговицы иа своей вылинявшей до белизиы чериой косоворотке. Потом рывком стягнвает ее с себя.

— Скидай тогда и портки! Цемеит ие сахар! — крнчит Чепуриой.

— Скииу и портки!..

— Скидай и штиблеты!

— Скииу и штиблеты! — яростно крнчит ему Киселев, сбрасывая с ног совсем развалившиеся ботиики; ои укутывает их в брюки, потом в рубаху, и все это сует под валяющиеся рядом лючиииы. Поднявшись, ои закатывает кальсоны до колен.

Порох, а ие человек! Его так легко «подначить».

Прнмеру Киселева молча следует Романтик. Он делает это как что-то давно решенное.

Тогда и я сбрасываю саидалин. Самое мое время!

— Эй, Докер! Скндай н ты портки! — гогочет Чепурной.

— А это я догадаюсь н без тебя! — отвечаю я, не удостонв его даже взглядом. Раздевшнсь, я остаюсь в одиой майке и трусах.

— Ну, ну, молодцы! — радуется старшой. Подмигивая заговорщически, он каждому из нас вручает по протнвогазу.

Таиется за протнвогазом и Шарков. У него трудиое положение: ои же постояиный подъемщик. Конечио, ои может стать иа подъемку иа пристаин. Но ои верен себе: предпочнтает быть подальше от посторонието глаза. Сняв верхнюю и нижнюю рубахи, ои передает нх на храиенне Угрюмому старику. Потом, спохватившись, сннмает брюки, сбрасывает свон рваиые ботинкн.

— Штаиы, штаиы прихвати! А то украдут деиежки! — все гогочет Чепурной.

— Не балуй! — угрюмо отвечает ему «Казаиская снрота».

Смеются и другие. Ну да, смешно: еще недавио Шарков с брюками не расставался, даже когда ложнлся спать, а теперь вон как смело оставляет их иа палубе. Да, денег у него ие осталось, как и у Киселева. Все пронграны этим разбойиикам, Балаидиму и Карпенти! Удалось же тогда, во время побонща, удрать нм в Черный город и там скрыться.

— А может, иам все же пойти? — Угрюмый показывает старшому на себя н на Глухоиемого.

— Деды остаются иа палубе! — отрезает Горбачев.

— Ну и мы зараз с нимн! — веселится Чепурной.

— Так н решнм: четверо будут подавать цемеит с пристани, четверо грузить в трюме! Марш по местам! — комаидует Горбачев, напуская на себя чрезвычайную строгость, так не идущую к иему.

Захватив противогазы и паланы, мы спускаемся в трюм. Забавную, навериое, картину представляем мы со стороны — четверо полураздетых грузчиков.

Пароходишко небольшой, стеики у него тоикие, иакалеииые, отчего в трюме душно, воздух сухой. Сильио пахиет мышами.

Шарков проверяет надежиость сходни, топчется около иее, как вратарь у футбольиых ворот: осваивает рабочее место. Мы же втроем прикидываем, откуда иачать укладку цемеита. Каждый из иас, кроме того что будет иосить цемент, еще поможет Шаркову как сменный, второй подъемщнк. На этом мы сэкономим одного человека: втроем все-таки веселее работать, чем вдвоем.

Шарков иадевает на голое тело фартук. Плотиее иадвигает на голову шапку. Напяливает иа себя противогаз. Лицо у иего сразу превращается в собачью морду.

На собак становятся похожнми Кнселев и Ромаитик.

Надеваю протнвогаз н я.

— Гав, гав, гав! — оттянув протнвогаз, лает Романтик.

— Гав, гав, гав! — вторнт ему Киселев.

Их примеру следуем мы с Шарковым.

Ромаитик бросается к Киселеву и пытается «схватить» его за ляжку. Тот отбрыкивается от него н сам кидается иа Шаркова. Шарков прячется за сходию. Но тут его настигаю я.

Сверху старшой кричнт:

— Эй вы, черти! Взбесились, что лн, там?.. Начинаем!..

И тут по сходне скатывается первый мешок цемента.

Шарков ловнт его и кладет к основанию сходии. На первый мешок он складывает еще четыре последующих — и упор у него готов! Мешкн все целые — н где они нх там подобрали иа пристаии?

— Начали, ребятка! — командует Шарков и, выставив вперед руку, притормаживает летящий мешок.

Но этот — трухлявый. Ударившнсь об упор, он взрывается и обдает нас с головы до ног цементом.

— Братцы! Нничего ие вижу! — вопит Кнселев, схватившись за залеплеиные цемеитом стекла противогаза.

Но Романтнк и Шарков подхватывают мешок и бросают мие на палан. Я бегу в угол н сбрасываю его там.

Летит иовый мешок.

— Давай, давай, ребятка! — кричит Шарков, оттяиув протнвогаз, и с шипящим свнстом вдыхает воздух.

Но Киселев пытается вычнстить стекла, пропускает свою очередь. Протнвогаз у него сейчас напоминает жабу: то сжнмается, то раздувается, кажется, вот-вот лопнет.

Тогда мы с Шарковым хватаем мешок и бросаем его на палан Ромаитнка.

Я оттягиваю противогаз, кричу Киселеву:

— Достань платок! Вытрн стекла!

Он хохочет:

— Отродясь его у меия ие было!

Летит иовый мешок. Но нестн его некому. Теперь вопит Ромаитнк:

— Братцы, задыхаюсь!

— Давай, давай, ребятка! — кричит Шарков. — Не балуй! — И снова с шипящим свистом вдыхает в себя воздух.

Но летнт второй мешок.

Летит третий мешок!

Старшой кричит сверху:

— Эй, в трюме! Что у вас там застопорилось?.. Давай пошевеливайся!

— Залепило стекла! — орет Киселев.

— Потеют, ни черта в них не видно! — вопит Романтик.

— Тогда забросьте их к лешему! — отвечает старшой.

Ай да Горбачев! Какой умница! Как же мы сами не догадались?

Мы дружно гогочем и срываем с себя противогазы. Забрасываем их под сходню.

— Теперь — давай, ребятка! — кричит нам Шарков, хватая мешок. — Подходи, Гарегин!

Как хорошо без противогаза! И дышится легко, и все видно.

Я подбегаю к Шаркову, и мы швыряем мешки с цементом на палапы Романтика и Киселева. Третий мешок Шарков один валит мне на палан.

— Старшой! — кричит Шарков. — Давай! Давай! Давай!

Снова сверху летят мешки.

Берет мешок Киселев. Берет Романтик. Беру я.

При новом заходе Киселев хватает мешок и бежит с криком: «Ялла!», как это делают в артели Гаджиева. Сбросив мешок, он возвращается с тем же криком обратно.

Сверху орут:

— Ну как там, черти, не запарились?

— Давай, давай, давай! — кричим мы.

Даже самим радостно, как слаженно мы работаем. Рассчитан каждый шаг, каждое движение. А ведь не сговаривались!

Летят, летят мешки!

Пот струится по лицу Шаркова. Грудь и плечи у него совсем мокрые. Но он ничего не чувствует, ничего не видит: ему некогда! Только и слышен его голос:

— Давай, давай, ребятка! Не балуй!

Киселев — тот просто истекает потом. Аж блестит весь. Точно вышел из парилки. Нижнюю рубаху, которую он уже снял с себя и заткнул за пояс, он превратил в полотенце, все время обтирается ею, и она уже успела почернеть.

Романтик тоже в поту. Лицо его выглядит несколько необычно: покрытое легким налетом цемента, изъеденное капельками пота, оно напоминает мне растрескавшуюся древнюю фреску — недавно я ее видел в городском музее.

Да и я обливаюсь потом!

Терпкий горьковатый запах пота забивает все другие запахи в трюме. От него щемит в носу, как от нашатыря.

Я смотрю на разгоряченные лица Шаркова, Романтика, Киселева и не узнаю их. У каждого будто бы светятся глаза изнутри. Они-то и придают необычное выражение лицам.

Разные мысли приходят мне в голову в этой необычной обстановке, где, казалось бы, и мыслить невозможно.

Вспоминается Ираклий Гаспарович, наш обществовед, его слова о человеческом братстве. Слова-то эти, собственно, Марксовы, но вот они вспомнились мне в трюме. Да, это правда, — я подтверждаю! — у пролетария с загрубелых от труда лиц глядит на нас вся красота человечества!

Мешок к мешку, мешок к мешку — и незаметно растет гора цемента в трюме. И это — дело наших рук. И моих рук тоже!

Как много может человек! И как порой он этого не осознает! В особенности когда он не познал радости физического труда. Это — особая радость...

Но думать некогда. Кричит Шарков:

— Подходи, ребятка! Не балуй!

— Давай, давай, ребята! — поддерживает его Киселев.

— Давай, давай! — вторит им Романтик.

Мешки летят, летят сверху, каждый раз взрываясь облаком пыли. И тут, правда, нельзя мешкать, тут не до раздумий.

Подбегает Романтик, хватает с Шарковым мешок и взваливает на спину подоспевшего Киселева. Тот устремляется в глубь трюма.

Летит новый мешок.

Теперь я подбегаю к сходне, подхватываю мешок на лету, взваливаю на спину Романтика. И этот исчезает.

Новый мешок!

Но уже появляется Киселев, успевает схватить с Шарковым мешок — совсем рваный, цемент сыплется из всех его четырех углов, — и, отвернувшись, не глядя на меня, они швыряют его на мой палан.

Снова подбегает Романтик, исчезает Киселев с цементом, бегу я на подъемку, исчезает Романтик, снова появляется Киселев, бегу я с мешком — мы кружимся по трюму, как заведенные. Но с каждым новым мешком густеет пыль в трюме. Уже почти ничего не видно. Нос забит цементом, я пытаюсь дышать ртом, но чувствую на языке и зубах вяжущую тошнотворную кашицу. С трудом я выплевываю ее и хватаю воздух — вернее, цемент!

Я смотрю на Киселева. На моих глазах седеют его рыжие кудри, точно их посыпают пеплом. А лицо у Романтика напоминает мне уже не фреску, а маску. Оно покрыто затвердевшим слоем цемента, замешанным на поте. Даже губы залеплены цементом.

А как Шарков, «Казанская сирота»?

У сходни стоит особенно густая завеса цементной пыли. Шарков где-то за нею. Его не видно. Но когда надо схватить мешок, из завесы вдруг прорываются его большие жилистые руки, поднимают и валят мешок и снова исче-

зают. Шарков, уж конечно, в трюме ни черта не видит, но как всегда — хорошо чувствует груз. Это у него профессиональная привычка.

Сверху раздается голос старшего:

— Эй вы, в трюме! Живы ли? Где вы там?

Слышу я и другие голоса. Потом снова старшего:

— Эй вы, в трюме! Вылезайте наверх! Перекур! Дайте осесть цементу. Или вы там задохлись?

— Нет, мы еще не сдохли, мы еще живы! — отвечает за всех нас Романтик и первым лезет по лестнице. За ним наверх поднимаются Шарков и Киселев, потом — я.

На палубе нас окружают с таким нескрываемым участием и удивлением, будто бы мы появились с того света или с другой планеты, хотя все тоже изрядно испачканы цементом, вся палуба в цементе. Бегут на нас смотреть и матросы. Видимо, у нас действительно необычный вид.

Растолкав всех, Романтик подходит к борту и с разлету бросается в море. Его примеру следует Киселев. Вода вокруг них сразу же закипает молоком.

Мы с Шарковым только вздыхаем, — не умеем плавать! — и плетемся на пристань, чтобы поплескаться у берега. За нами по пятам тянутся наши лапистые белые следы.

Навстречу толпами идут пассажиры на красноводский пароход. Одни нас сторонятся, другие делают вид, что не замечают, но потом оборачиваются и с трудно скрываемым любопытством или презрением смотрят вслед. А некоторые — открыто и нагло смеются нам в лицо, хотя и не говорят: «Вот дураки!»

Вот, нахально кривя губы, глядит на нас расфранченная пара — он и она, за которыми родители, согнувшись в три погибели, несут их большие тяжелые чемоданы.

Мне хочется крикнуть им:

— Эй ты, красавица! Не морщь свой прекрасный носик! И ты, маменькин сыночек, не корчи ироническую рожу! Без нас — вы ничто!

А при взгляде на идущую вслед за ними другую пару, так похожую на нэпманскую, мне в голову приходит озорная мысль: коснуться плечом их роскошных нарядов, измазать цементом, чтобы не глядели на нас с таким диким ужасом в глазах.

Но это делает за меня Шарков. Он читает мои мысли.

Раздается такой визг, что вся пристань оборачивается в нашу сторону.

А я — хохочу. Мне весело. Мне радостно.

* * *

С тем же радостным чувством я покидаю пристань после окончания погрузки. На этот раз я не полощусь у берега и не стряхиваю с одежды цементную пыль. Пусть все видят и знают, что я стал настоящим грузчиком, что я грузил цемент, к тому же — без противогаза!

Мне хочется, чтобы мою радость по поводу «крещения» разделили со мною хотя бы прохожие, и вообще... все, все, все! Потому-то я и не плетусь сегодня вместе с артелью в общежитие, а, попросив Романтика захватить мой палан, иду через Петровскую площадь в центр города.

На углу улиц Шаумяна и Красноводской я нос в нос сталкиваюсь с парнем, которого сразу же узнаю, хотя мы не встречались с ним давно. Он за это время сильно изменился: раздался в плечах, вытянулся, даже отпустил тоненькие, в ниточку, усики. Это — Маэстро.

— Я так рад тебя видеть! — говорю я и порывисто обнимаю его за плечи.

— Гм... я тоже. — Он осторожно отстраняет мою руку и смотрит на меня с некоторым удивлением: с чего бы это?

— Как ты живешь? Что поделываешь? — нетерпеливо спрашиваю я.

— Да ничего, — неопределенно отвечает он и осторожно счищает с себя цементную пыль.

Я веду себя с ним, как старый друг, хотя до сегодняшнего дня мы особенно и не дружили. Жили мы, правда, на одной улице. Потом Маэстро переехал на Воронцовскую, и мы редко встречались.

Я продолжаю в том же приятельском тоне:

— В городе никого не осталось из знакомых ребят. Радуюсь, когда встречаю кого-нибудь.

— Чудак! Где же ты их найдешь? Все уехали в Москву и Ленинград! — Он произносит это с горечью. — Говорят, кореши твои — Виктор и Сашко тоже махнули туда? Правда, Гарегин?

— Правда. И Лариса тоже!

— Не пишут, как устроились?

— Давно от них нет писем... Ты работаешь?

— Где там! — Он машет рукой. — Разве легко найти работу без специальности? А на черновую не хочется.

— Учишься?

— Подавал. Не приняли. Отец у меня хотя крупный спец, но ведь считается служащим. При моем положении нужен рабочий стаж.

— А зачем тебе институт? Поступил бы пока работать. Легкую, правда, не найдешь, но тяжелую — сколько угодно. Ну, хотя бы грузчиком. Докером!

— Грузчиком?.. Докером?.. — Он хмурит брови. Чувствую, что он никогда об этом не думал. Но вдруг Маэстро с ожесточением в голосе спрашивает: — А мама?.. Про маму ты подумал?.. — Он порывисто берет меня под руку и тащит мимо Молоканского сада. — Я тебе так завидую!..

— Чему именно?

— Ты работаешь! Ты работаешь! Если не секрет — где?

— Какой же тут секрет. В порту! Вот только что закончили погрузку цемента. Сегодня к тому же я прошел обряд «крещения»: цемент считается самым поганым грузом. Это тебе не кишмиш и не миндаль грузить!

— О-о-о-о! — тянет Маэстро. — И такие грузы бывают!.. Тогда обязательно, Гарегин, я должен показать тебя маме. Пусть увидит, что быть рабочим — это совсем даже не страшно. Зайдем ко мне? Пообедаешь у нас.

Я с улыбкой смотрю на него. Вот дурачок! Что же тут страшного? Вон вытянулся в какого верзилу. Хорошо сложен, широкие, сильные плечи — мог бы прекрасно поработать у нас в артели. Я теперь на всех смотрю оценивающе, с позиции грузчика: подойдет или не подойдет в нашу артель?

— Ты, наверное, занимаешься спортом? — спрашиваю я, улавливая краешком уха иронию в своем вопросе.

— Угадал. — Вечерами — боксом, днем — плаванием. А что же мне еще остается делать?

— Да-а-а-а, ты бы подошел в нашу артель, — говорю я как бы про себя.

— Что ты сказал?

— Да вот думаю: зачем мне идти к вам домой. Обедать?.. В другой раз. — Я чувствую, что наша беседа затянулась. К тому же я потерял всякий интерес к Маэстро. Неведомая сила тянет меня дальше!..

— Нет, я обязательно должен тебя показать маме! — с ожесточением произносит Маэстро. — Ты не знаешь, что это за феномен, Гарегин. Ну, ладно, сам увидишь и убедишься. — И, не выпуская моей руки, он чуть ли не насильно тащит — нет, волочит! — меня по улице. Руки у него крепкие, так просто не вырвешься. Попался я!

— А в какой институт ты бы хотел поступить? — спрашиваю я, чтобы отвлечь его разговором. Может быть, тогда он несколько замедлит шаг?

— Мне все равно, какую приобрести специальность. Но обязательно — стать инженером, удовлетворить прихоть матери. Сам-то я хотел бы кончить мореходку, поплавать по морям. Пусть даже по нашему Каспийскому озеру!.. Но мать и слышать не хочет об этом. Она не понимает, что это за чертовщина — моряк. Ей подавай ин-же-не-ра! — «Инженера» он произносит сквозь зубы, с ненавистью. И тут замедляет шаг. Даже выпускает мою руку.

— Да, все мамы и папы хотят, чтобы мы стали инженерами. Тут уж ничего не поделаешь, — сочувственно говорю я.

— Помешались на инженерах! Меня уже тошнит от этого слова, поверишь ли, Гарегин? У нас в роду не было инженера. И потому все наши родственники решили, что им должен стать я. Обязательно я! Как это тебе нравится?

«А как его звать?.. Маэстро, Маэстро... Но это кличка... Ведь есть же у него имя?»

— Да, странное было бы общество из одних инженеров, — говорю я. «Как же все-таки его звать?.. Ведь знал и фамилию!..»

— Жили бы они, как у Салтыкова-Щедрина. Помнишь «Сказку о том, как мужик... трех генералов прокормил»? — продолжает Маэстро. — Трех или шесть генералов? — Он вопросительно смотрит на меня.

— А хоть и одного! — говорю я.

— Кто бы сеял хлеб?.. Добывал нефть?.. Продавал газеты?.. И папиросы!.. И ириски!.. Помнишь, когда твоя мать заболела, ты бегал по улицам, продавал ириски и орал: «Ирис-ирис Эйнема, Эйнема ирис, Эйнема»?

И мы хохочем от всей души!

— А помнишь, как распевали песни? — теперь спрашиваю я.

— Помню! А дурацкие частушки помнишь?

Ради бога, дяденька...

Маэстро взрывается смехом.

Смеюсь и я. Действительно смешно. Как мы там пели?

Ради бога, дяденька.
Сколько можешь, дяденька.
Открывай сундучок, подавай пятачок.
Я маленький чопчик, сел на мосточек,
Люди играют, дудки забавляют.
Маруся, Маруся, ты меня не бойся.
Я тебя не брошу, ты не беспокойся.
Кишмиш, курага, жарено варенье,
Петуха зарезали, завтра воскресенье...

— Правда, трудно выдумать бóльшую бессмыслицу? — спрашивает Маэстро.

— Конечно, — смеюсь я. — А помнишь «Гренаду»?

— Помню, — на этот раз уже печально произносит он. Тихо напевает:

Я хату покинул,
Пошел воевать...

«А симпатичный он парень. Как же его звать?.. Алик! Ну, конечно Алик!»

— Да, Алик, тому как будто бы минуло тысячу лет, — с удовольствием произношу я.

— Да, да! А прошло — пять или шесть. — И он снова берет меня под руку, к моему огорчению, не заметив, что я назвал его по имени.

Как ни смешно, но это почему-то меня сильно обижает. Я укоризненно смотрю на него. И как ни крепко он держит меня за руку, я все же высвобождаю ее, прощаюсь с ним, пообещав пообедать у него как-нибудь в другой раз.

Нет, меня сейчас не затащишь ни в какой дом, ни на какие обеды!

Радостное чувство не покидает меня. Я грузил цемент! Я грузил цемент! Я готов обнять каждого встречного.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Да, нам сегодня, виднмо, так и не дождаться «Феди Губанова». Ждем пароход с самого утра. Кроме иашей, ждет еще артель Веии Косого. Идет «Губаиов» с большим опозданием.

Но хитрый Веия к обеду все-такн уводит своих грузчнков иа другую работу, оставнв дежуриым Коиопатого, а иаша артель продолжает изиывать от безделья на 17-й прнстаин. Едннствениая у иас забава — это наблюдать, как третья артель грузит «Ахундова». Но здесь больше домашиего скарба, чем настоящего груза.

На мииуту только вспыхнвает веселое ожнвлеиие, когда Чепуриой говорит:

— Эх, жаль, нет «одесских шахтеров»! Перекинулись бы в картишки! — и, смеясь, тычет пальцем в Киселева и Шаркова.

Агапов подхватывает:

— А «шахтеры» пропивают их денежки где-нибудь в Ростове или Тнфлнсе. Смеются над дуракамн!

— Будя скалить-то зубы! — Побагровев, Киселев пересаживается подальше от нних.

Но Шарков иастроеи благодушно:

— Человек остался без коиягн, а вы — смеяться!.. Нехорошо, ребятка, — и сам смеется.

— Сдалась ему коияга. Что бы он с нею делал? — вступает в разговор Ромаитик.

— Как что — землепашеством заннмался! — снова вскипает Киселев.

— Где ж ты землю найдешь?

— Как где? — кричнт Киселев. — Расея, оиа большая! В Сибирь подамся! Да, да, в Снбирь, Ромаитюк!..

— А хочешь, я тебе подсоблю? Устрою коиягу? За недорого? Хотя ты ие человек, а собака. — И Чепуриой с участливым вндом подсажнвается к Киселеву.

— Спасибочко! — Киселев отодвигается от иего. — Я, братец ты мой, счнтай, распрощался с деревней. Идтн под начальство Алешкн Зыкова?.. Нет, спасибочко! — Сияв шапчоику, он всем иизко кланяется. Лицо у иего ожесточеииое, губы сжаты до белизны. — Я теперича — рабочий класс! Почет тебе и уважеиьнце!.. Отработал свои восемь часов — ии забот тебе, ин хлопот. Хошь бери палочку в рукн, гуляй себе по бережку, хошь идн в киио. А при деиежках н пивком можио побаловаться! — «С легким паром» делает хнтрющее лицо. — Я тута в одном местечке ужо закииул удочку, помахал воскресный денечек топором, показал, что умею делать. Обещалн работенку. Может, клюиет. Письмо домой отправил, женку обрадовал.

— И коияги, зиачит, ие хочешь? — спрашивает Чепуриой.

— Нет, ужо отхотел. Ты вона подсоби купить коиягу Коиопатому. Деиежкн кой-какие у него, считай, еще водятся. Не все продул «шахтерам», как мы, дуракн, — н вдруг сам взрывается смехом. — Здорово же, черти, оии иас тогда облапошили!

Смеются все. Потом — наступает тишииа. Только Коиопатый обращается к Горбачеву:

— Возьми меия в свою артель, старшой!

— А хоть сейчас, — равнодушно отвечает тот и сладко зевает. — Скажи своему Вене Косому, пусть переведет.

Но вот закоичилась погрузка «Ахуидова», задраеиы трюмы. Ушла грузнвшая его артель. Начинается посадка. Пустыииая пристаиь наполияется нарядио одетой публикой. Здесь больше провожающих, чем уезжающих. Потому ие слышно обычиого шума и гама, как при посадке на пароходы других линнй. «Ахундов» иаправляется за граннцу, в Персию.

Мимо иас проходнт большая толпа иностранцев: аигличаие, иемцы, итальянцы и еще какие-то очеиь высокне, белобрысые н рыжие, ие то шведы, ие то финиы. Народ холеиый, в чериых защитиых очках, в ботннках с немыслимой толщииы подошвой.

Носильщики, согнувшнсь под тяжелой иошей, иесут за иими длиииые, как гробы, сундукн дипломатов; опоясаниые широкими ремиями с золотистыми добротиыми застежками кожаные чемодаиы; клетчатые, сумасшедших вндов и окрасок объемистые баулы.

Сопровождают иностранцев таможеиииии, иачальннк пристаии, какие-то важные сотрудиики из портового управления.

Ромаитик толкает меия в бок:

— Идет мировая контра. Одолеешь таких?

Но я как зачароваиный не могу отвести глаз от ботинок, от подошвы в два пальца толщииой. «Вот бы мие такие, своих-то не вериешь!» С опозданием, ио отвечаю Ромаитику на его иасмешливый вопрос:

— Еслн проявит актнвность западный пролетариат.

— Да-а-а, — тяиет ои и тоже не сводит глаз с ботииок. — Сиосу им, иавериое, нет...

Потом к пароходу идет большая группа — человек сорок — персов. Это нашн портовые грузчикн. Оии отработали свой срок по договору и теперь уезжают к себе на родину. Провожают их товарищи по четвертой и пятой артелям, с которыми оии часто соседствовали по работе, иачальство погрузочиого отдела Морагеитства.

Сегодия персы выглядят иеобычио: оии оживлеиы, смеются н дурачатся, как грузчики иаших артелей. Да н старшой у иих меиьше всего сегодия иапомииает жандарма.

И одеты персы сегодия иеобычио. Все в новых костюмах, в иовых, сверкающих лаком галошах.

А узлов и чемоданов сколько у каждого! Как у зиатиых иностраицев — ие меиьше восьми — десятн мест. Везут все, что можно увез-

ти. Ну, прежде всего ковры и паласы, хотя они стоят у нас намного дороже, чем в Персии. Самовары белые и самовары желтые, что, наоборот, в Баку можно купить по очень дешевой цене. Навезли их в свое время беженцы из России, а сейчас везут приезжие из деревни. Некоторые из персов увозят по три-четыре самовара. А охотничьи ружья, эмалированную посуду, тазы всех размеров можно увидеть у каждого.

— У них заработок, считай, поболее двухсот целковых, — унылым голосом говорит Киселев. — Да столько же прирабатывают на шабашках. А у нашего брата завсегда пятьдесят два сорок!

Но никто на этот раз не поддерживает начатого Киселевым и излюбленного всеми разговора о заработках. Даже Шарков!

— А что, ребята, если нам тоже проводить персов? — Романтик встает. — Как-никак немало вместе поработали на бакинских пристанях!

Но ему никого не приходится убеждать. Все дружно забрасывают паланы в угол склада, и мы идем провожать персов-грузчиков.

Они очень радуются нашему приходу. Жаль, что у нас нет ничего с собою, чтобы подарить им на память. Но зато — нет недостатка в крепких рукопожатиях, в наших заверениях в товариществе и братстве.

Но вот и «Ахундов» отчалил! Он уже далеко от пристани. Правда, еще видно, как машут платками персы-грузчики. Они всей артелью так и торчат на корме. Жаль, видимо, расставаться с Баку. У них тут осталось много хороших друзей. Да и заработки были твердые и большие. Что их ждет на родине, дома?

А платки все мелькают, мелькают!

Старшой говорит:

— Идите-ка, ребята, домой. На всякий случай оставим кого-нибудь дежурить. Если до пяти часов придет «Губанов» — прибежит за вами, нет — будем разгружать завтра.

Все, конечно, охотно соглашаются с предложением старшого. Даже Конопатый. Дежурным оставляют самого «молодого, быстроногого». Это, разумеется, я.

Но не успевают наши разойтись, как бежит начальник пристани.

— Ребята! — кричит он. — Идет, идет «Губанов».

Я смотрю на горизонт. Да, это «Губанов». Его всегда так легко отличить — по размеру, по гордому силуэту, по вздернутой корме. Таких пароходов на Каспии раз-два — и обчелся. Отличить его легко еще по дымам: так густо дымит только «Губанов». Но и — по басовитому гудку!..

* * *

Работать мы начинаем уже при свете электрических лампочек. Иначе в трюме темно. Тут вся наша немногочисленная артель. Груз — кожу в тюках, — не то из Персии, но то из Турции, выгружаем стрелами. Строп с пятью или шестью тюками поднимается из трюма и долго плывет над палубой, пока его там не подхватывают грузчики, работающие на перевалке.

Наверху все время визжат лебедки, слышна ругань матросов и истошные команды «вирай» и «трави».

После двух перекуров старшой объявляет получасовой перерыв. Да, запарились мы с этой кожей основательно. Стропить, конечно, не носить, но все-таки тяжело: тюки пудов на восемь, не меньше.

Наши все карабкаются по отвесной трюмной лестнице наверх подышать свежим морским воздухом. В трюме остаемся я и Агапов.

— А ты что здесь торчишь? — спрашивает он, как-то нехорошо покосившись на меня.

— Устал! Отдохну немного.

— Ну, ну! Полежи! — говорит он и, посвистывая, скрывается в проходе, сделанном меж тюков.

Выныривает Агапов уже на другом конце трюма. Он становится на корточки, достает финку и спокойненько, все посвистывая, начинает распарывать по шву тюк с кожей. Зачем он это делает? От изумления я даже перестаю дышать.

Финка у него в руке бегает, как перо; «пишет» он размашистым почерком.

Вот Агапов отбрасывает верх мешковины, и я вижу красную, сверкающую на свету кожу. Красное шевро!

Я кричу:

— Агапов! Это мне кажется, или...

— Чудак ты, Гарегин! — Он не дает мне договорить, смеется. — Конечно, кажется. Кто же при посторонних станет брать кожу? — И уже задумчиво: — За это по головке не погладят.

— Вот именно! — говорю я.

А он вытягивает из тюка несколько штук кожи, мнет их в руке, встряхивает, гладит ладонью и вдруг, вместо того чтобы положить шевро обратно в тюк, начинает окручиваться им, задрав рубаху.

Я снова перестаю дышать. Наяву происходит это или во сне?

Я бегу по проходу к Агапову.

— Но ты же берешь кожу! — говорю я ему, став на почтительном расстоянии. — Ты думаешь, я слепой?

Зажав финку меж колен, он запихивает кожу в брюки.

— Правильно, Докер! — Агапов опускает рубаху, перепоясывается. — Взял, но не украл. Я не вор. «Взял» и «украл» — разные вещи.

— Ты мне не заливай! Клади кожу обратно!.. — говорю я.

Он подбрасывает в руке финку.

— Нет, вправду, ты и на самом деле не знаешь различия между «взял» и «украл»?

— Знаю. Просвещенный! Клади кожу обратно! — Мне кажется, что он все же шутит и делает это только потому, что хочет позлить меня.

— Да ты послушай, дурачок. «Украл» — это когда тащат у какого-нибудь там Петрова или Козлова. За это положена тюряга! А «взял» — это риск. Берешь же у своего рабоче-крестьянского государства. У го-су-дар-ства, не у частного лица! Потому-то помаленьку все берут.

— Ну, положим, не все. — У меня снова перехватывает дыхание.

— Ей-богу, все. А в порту подавно. — Он продолжает играть финкой. — И у нас в порту берут, и во всех портах мира. Так уж заведено.

— Не знаю, как в других портах, а у нас... при мне... не позволю воровать!

— Ну зачем так грубо! — Агапов прячет финку за спину и морщит носик. — И сам бы взял три-четыре штуки, не замечал бы, как другие берут. Если тебе противен запах чеснока у другого, скушай и ты чесночину...

— Ты что — хочешь, чтобы я стал вором?

— Ну вот, опять грубишь!.. Эх, Докер, Докер!.. Ведь каждый добирает то, чего ему не хватает. Кто же живет на одну зарплату?

— А вот я живу! Тысячи других живут!

— Это пока у тебя нет семьи. Нет потребности выпить, погулять, одеться, покушать. Шайтан тебя возьми, ты еще сосунок, ни черта в жизни не понимаешь. — И он снова подкидывает в руке финку.

— Почему же я не понимаю? Понимаю. Только иначе, чем ты, — примирительно говорю я, вдруг почему-то пожалев Агапова. Может быть, у него большая семья, ему трудно живется? Хотя что-то не похоже, чтобы он бедствовал. — Знаешь, Агапов, у нас был учитель — Ираклий Гаспарович. По обществоведению. Мы его очень любили, он не был похож на других. У нас с ним были товарищеские отношения. Старший друг — и все!.. Так вот он приучил нас к спартанскому образу жизни. Когда мы кончали школу, он нам сказал в напутственном слове: у человека все имущество должно умещаться в одном чемодане, чтобы человек не был пленником вещей, чтобы он был свободен как птица. Куда его страна пошлет — на любое строительство! — чтобы туда он ехал охотно, не цеплялся за большие города... Ну, конечно, его слова надо понимать несколько шире... Если надо, то ехать еще кой-куда. — И я делаю в воздухе этакий замысловатый жест.

Он иронически смотрит на меня, скосив левый глаз, спрашивает:

— А зачем тогда жить, работать, если человеку ничего не надо?

— Кое-что, конечно, надо, — говорю я.

— Вот одеться, например, тебе не мешает. Симпатичный парень, а ходишь как бродяга. Хочешь, я тебе устрою по дешевке отрез английского шевиота или индиго?.. За полсотню?.. Ходил бы этаким пижоном, все девки заглядывались?

— Нужны они мне!..

— А как же не нужны? Краля всем нужна. У меня одна хорошенькая есть на примете... — Подбросив в последний раз финку, он поворачивается спиной и идет к трапу.

— Ты мне зубы не заговаривай, Агапов! — кричу я и бегу за ним. — Клади кожу обратно!

— Не положу, Докер! — Он оборачивается и снова подкидывает финку в руке.

— Положишь!

— Не положу!

— Я старшого позову!

— А мне плевать на него. Он у меня вон где, должен три сотни, — и он похлопывает себя по подметке. — И ты мой должник, так что молчи. Скажу Гусейну-заде — выгонит с треском.

«Проклятая метрика!» В эту минуту я презираю себя.

Но тут точно кто-то толкает меня сзади. Я налетаю на Агапова, пытаюсь схватить его за руку. А он очень даже умело, сильным, но плавным рывком отводит мою руку в сторону, при этом как-то незаметно проведя по ней кончиком финки — от локтя до запястья.

Обнаженная рука у меня на какое-то мгновенье чернеет и вдруг, точно препарированная, заливается кровью.

— Что вы там расшумелись? — кричат сверху.

Я поднимаю голову — в проеме трюма виден свесившийся по грудь старшой.

Агапов смеется, говорит старшому:

— Я его, дурака, хотел испытать: честен или не честен?.. А он бросается на нож, руку вон себе окровавил.

Горбачев говорит:

— Смотрите у меня! Не баловаться ножом, — и уходит.

— Дурак, дурак! — Агапов прячет нож. Приподняв рубаху, он срывает с пояса три, цвета крови, куска шевро и швыряет на тюки. — Честный дурак!.. Есть у тебя платок? Давай перевяжу. — Смеется. — Неужели ты и на самом деле подумал, что я стану марать руки из-за этого дерьма?.. Эх, Докер, Докер! Плохо ты знаешь Костю Агапова!

И он берет у меня платок, крепко стягивает мою руку.

Прижав ее к груди, я с трудом поднимаюсь наверх. Иду на корму. Здесь ветерочек, легче дышится. Сажусь на круг каната, валяющийся у борта.

«Для чего Агапову надо было испытывать меня? Сделать своим сообщником?»

Подходит старшой, спрашивает:

— Что там случилось в трюме?

— Да особенного ничего, — говорю я. — Повздорили немного.

— Не баловаться у меня ножом!..

— Я завтра на часок опоздаю, старшой! Схожу в Морагентство.

— Зачем?

— Поговорить с Гусейном-заде.

— О чем?

— О метрике! Нехорошо все это получилось.

— Все переживаешь!.. Не смей ходить туда! Я знаю — и этого достаточно. Экий преступник нашелся в артели!.. Ты забываешь, что я старшой артели, сам являюсь представителем Морагентства.

— И все равно надо бы сказать!..

— Ладно, при случае скажу, — уже примирительно говорит он. — Самому Гусейну-заде! Посмеется — и только делов.

— Честное слово? — Мне сразу становится легче.

— Честное. — Закинув руки за спину, он уходит неторопливым шагом.

Глядя в звездное небо, я стараюсь глубоко дышать и успокоиться.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Да, с порезанной рукой, как и вчера, я много сегодня не наработал. Хотя это всего-навсего глубокая царапина, но когда мне на спину взваливают четырехпудовый мешок с зерном, эта царапина отдается болью по всей руке.

Делать нечего — снова надо идти на перевязку. За час до окончания работы я уже собираюсь в поликлинику.

Только я выхожу из пристанских ворот — меня через дорогу нагоняет девушка.

— Молодой человек!..

Я останавливаюсь. Конечно, сразу узнаю девушку. Забыть ее невозможно — «железную Зару»! Она в той же юнгштурмовке, в красном платочке.

— Здравствуйте, — говорю я.

— Здравствуйте. — Она улыбается, дружески протягивает мне руку.

«Не с покаянием ли пришла? Не просить ли моего посредничества в примирении с отцом?»

Но она говорит с каким-то упреком:

— Который час я вас поджидаю! Ведь я здесь не знаю никого. А мне так некогда.

«Опять ей некогда!..»

— Ну, а своего отца тоже не знаете?.. Или позабыли, как он выглядит?

Глаза ее вдруг вспыхивают и начинают полыхать лихорадочным огнем. Нет, она все такая же!

— Я вам еще в тот раз объяснила: нет у меня никакого отца.

— А что же вас тогда привело ко мне?

— Пустячное дело.

— Я готов сделать его... ради не признаваемого вами отца! — И я делаю шаг, давая ей понять, что торчать посреди улицы нам не очень-то удобно.

— Пусть будет по-вашему, — говорит она, идя рядом, торопливо раскрывая портфельчик. — Вот, передайте гражданину Саакову, — и она протягивает мне связку ключей. — Скажите ему, что он может вернуться домой, прожить там до моего возвращения. Но пусть за это время сыщет себе квартиру. Я бы это сделала и через кого-нибудь другого из грузчиков, но, к сожалению, кроме вас, никого здесь не знаю.

Остановившись на тротуаре, я беру у нее ключи, подкидываю в руке.

— И куда вы едете, если это не секрет? Может, он спросит? — Смотрю на нее с любопытством.

— К сожалению, — вздыхает она, — не на строительство Днепрогэса, не на Харьковский тракторный, не на другую стройку пятилетки!.. Просилась, написала десяток заявлений — не пускают, говорят, поедешь с комсомольской бригадой в колхозы Гянджинского района...

— И надолго?

— Пока не уберем весь хлопок до последнего коробочка! До ноября — декабря.

— Да, трудная это, должно быть, работа, — говорю я. — Много ли наберешь хлопка за день?

— Если научиться — много. Некоторые собирают по сто килограммов за день. Но для этого надо иметь крепкую поясницу. Ведь все время приходится нагибаться и разгибаться. Кроме хлопка, конечно, мы будем заниматься культработой. Попробуем открыть избы-читальни, провести всюду радио.

— Да, — говорю я, — это все, должно быть, интересно.

— При условии, если браться за дело с сознанием — это необходимо, нужно. — Она вздыхает. — Не всем же вершить великие дела! Надо делать и простые, маленькие, с реальной пользой для страны.

— Вы, конечно, правы, — говорю я ей, позванивая ключами.

— Не всем это кажется!.. Многие у нас витают в облаках — больше декларируют о социализме и мировой революции, чем трудятся. С наибольшей пользой для дела! — Тут она начинает размахивать своим портфельчиком, как школьница. — Ну, мне пора.

А мне почему-то не хочется так быстро расстаться с нею. С Зарой интересно. Умница!

— Не хотелось бы вам сегодня пойти в кино? — вдруг выпаливаю я.

Она смотрит на меня таким испуганным взглядом, точно я ей предлагаю что-то очень нехорошее.

— Что вы, что вы! У меня столько работы! — Она кивает мне и тут же теряется в уличной толпе.

Некоторое время я еще стою на месте, а потом направляюсь в сторону поликлиники. Чувствую себя каким-то раздраженным. Не потому же, что Зара не захотела идти в кино? А другой причины как будто бы и нет.

Кажется, я впервые серьезно задумываюсь о себе, несколько заглядывая вперед, размышляю о той «наибольшей пользе», о которой говорила Зара. «А не донкихотство ли мое докерство? Разве там, на Западе, нет своих мальчишек, которые могут совершить у себя революцию без нашей помощи? Откуда тогда берутся красные фронтовики, коммунисты — французские, итальянские, испанские?»

С раздражением сую ключи в карман. С раздражением думаю о старом Саакове.

* * *

Когда я возвращаюсь из поликлиники, наши уже дома. Недавно была почта. Кто читает письма, кто строчит ответ, кто листает газеты. Ищу глазами Угрюмого, но его в бараке нет.

Позванивая ключами, я спрашиваю:

— Не знаете, ребята, куда ушел Сааков?

Никто не отвечает. Все заняты.

Читает письмо Киселев, уединившись у окна. Прочтет, посмотрит долгим взглядом на улицу, снова принимается читать. Улыбается.

Я подхожу к нему, кладу руку на плечо.

— Чего улыбаешься? Что пишет жена?

— Да вишь ли, — сияли нашего председателя, судить собираются за пьянку и воровство. Срам-то какой, а?.. Пишет вот... прислали на его место мастерового из города...

— Я же говорил — наладятся дела и в вашем колхозе! Вернешься домой, станешь...

— Может, наладятся! — обрывает меня «С легким паром». — Но я, Докер, насчет того, чтобы вернуться, — сумневаюсь, стало быть. — Вдруг он вскипает: — Чтоб Алешка Зыков снова орал на меня?.. Грозил выкинуть из моего же дома?.. Не-е-ет! — И я вижу давно знакомое мне ожесточение в его сурово сжатых губах. Он отворачивается от меня, давая понять, что не желает дальше вести разговор.

Да, не человек, а порох!

— Тебе, конечно, виднее, — с виноватым видом говорю я и отхожу от него, чтобы больше не гневить. Видать, на всю жизнь обидели человека.

Читает письмо Чепурной, прикрыв по привычке левый глаз, поскребывая подбородок.

Закинув ногу на ногу, валяясь на топчане, читает Романтик, но — газету. Я ни разу не видел, чтобы он получал письма. Что — у него нет родных, знакомых? Загадочный он все-таки человек.

Увидев меня, Шарков что-то прячет под подушку, потом с равнодушным видом, щурясь, оглядывается. Только один Иван Степанович сидит надувшись, скрестив руки на груди. Нет ему еще ответа из Москвы, от Калинина. Я встречаюсь с ним взглядом. Он отворачивается, точно во всех его бедах виноват я.

Я прохожу мимо, спрашиваю у Чепурного:

— Мне не было писем?

— Нет, тебе пишут, — отвечает Чепурной и хочет меня обрадовать вестью: — Скоро у нас прибавится народу, легче будет работать. Едут знакомые станичники.

— Это что... которые тогда ночью своим ходом пришли? — спрашиваю я.

— Те самые! — Он подмигивает мне.

— А откуда они едут? — отложив газету, спрашивает Романтик.

— Да вот поехали устраиваться на работу в районы. Но, пишут, ничего там нет, вертаются назад. Будут у нас устраиваться грузчиками в артели. Ребята здоровые, хорошие работники. Так-то, товарищ Рамантек!

— А куда денут лошадей? — глядя в потолок, спрашивает Романтик.

— Каких лошадей? — Чепурной нехорошо смотрит на меня.

— Вот послушай «каких». Пишут в «Бакрабочем»: «В базарные дни в Барде, Евлахе, Тертере, Агдаме продаются целые табуны лошадей, пригнанных с Дона и Кубани кулаками. То же самое происходит и в Карабахе. За короткий срок здесь на базарах продано несколько сот лошадей». — Он отбрасывает газету в сторону. — Что скажешь на это?

— Да что я скажу? — Чепурной опускает глаза. — Дошлый народ кулаки, по-нашему — куркули. Что можно порезать из скотины — порезали, что нельзя — теперь угоняют на сторону. Надо же! — Он качает головой и снова нехорошо смотрит на меня. — Нет, наши ребята простые хлеборобы. Простые мужики. Кулак ведь известно какой: пузо вот этакое, лакированные сапожки, обрез под полою. А наши ребята простые мужики. Правда, несогласные с колхозом. Жить будут в единоличестве или совсем уйдут в город.

— Значит, говоришь, кулак ходит в лакированных сапожках? Пузо этакое? Обрез под полою? Ну, ну, лепи горбатого. — И Романтик снова углубляется в чтение газеты.

Чего это он пристал к Чепурному? И чего тот так ненавидяще смотрит на меня?

Я оборачиваюсь и на этот раз вижу Шаркова, вертящего в руке конверт. Он то подносит его к глазам, то кладет на колени. Неужели «Казанская сирота» получил долгожданное письмо из Татарии и хочет скрыть от меня?

Я подхожу к старику. Да, так оно и есть: письмо из Татарии. Но он с большой неохотой показывает его мне. А прочесть письмо... он собирается «как-нибудь в другой раз». Вот тебе и долгожданное письмо!

— Пусть пока полежит в сундучке, — говорит Шарков. — Что с ним станет?

— С ним-то ничего. Но с тобой — может! — говорю я, садясь рядом на топчан.

— В другой раз я и год не открывал письмо!

— Ну и как?

— Конечно, не совсем хорошо получилось. От брата было письмо. Мать тогда наша померла.

Смешно и грустно!

— И это тебя ничему не научило?

— Письмо должно полежать. Грех сразу открывать. Потом — мало что там может быть?

— Вот именно! — с радостью подхватываю я. — Может быть, в нем важное известие? Может быть, родные твоей Зарифы совсем отказываются от подарка, или как там — от калыма? Просят тебя срочно приехать?

— Ну, так у татар не бывает, — смеется он. — Ты татар не знаешь.

Я хочу надорвать край конверта, но он с испугом вырывает его из моих рук:

— Не балуй! — Он достает перочинный ножичек и, положив конверт на подоконник, невзирая на свою слепоту, аккуратно срезает край. — Читать здесь не будем, пойдем на улицу.

Мы выходим во двор.

— Вот давай сядем на скамейку, — говорю я.

— Нет, айда куда-нибудь подальше!

Мы идем на пустырь, где недавно разыгралась памятная баталия с картами и дракой. Устраиваемся в ложбинке.

Я беру письмо в руки. Пробегаю первые строчки. Но что это?.. Письмо от самой Зарифы, а не от ее родителей, которым я писал!

Меня смешат каракули Зарифы. Она, видимо, только еще учится грамоте. Что же она пишет? Что ни за кого она сейчас не собирается замуж, что только недавно вступила в комсомол, что сельская ячейка посылает ее учиться в Казань.

Дальше она пишет, что если вздумает выйти замуж, то найдет себе более подходящую пару, чем Шарков. Зачем ей дряхлый старик?

Тут она, конечно, поступила опрометчиво — так она могла написать подруге. Шарков сразу же вскипает:

— Это кто — я дряхлый старик? — Раздается что-то вроде орлиного клекота, он ругается по-татарски. — Еще раз прочти! Давай сначала!

Только при повторном чтении до Шаркова доходит смысл письма. Он вырывает его из моих рук, вскакивает на ноги. Водит перед самым носом. Но, конечно, ничего не видит. К тому же он не знает грамоты, ни одной буковки!.. Комкает письмо. Топчет ногами. Отшвыривает в сторону. Ругается страшными татарскими ругательствами.

— Ну, ну, успокойся, — говорю я.

— Ты слышал когда-нибудь — девочка сама решает: выходить за Шаркова или не выходить? Сама пишет!!! — Он потрясает кулаками. — Это все сделали шайтаны-комсомолы.

Мне жаль Шаркова, но и радостно, что так обернулось дело с его сватовством. Не удерживаюсь, чтобы не сказать:

— Конечно, комсомольцы. Зачем Зарифе выходить за тебя замуж? Это при старом режиме продавали дочерей. А потом — не такой уж ты и красавец, Шарков. Ты и немолодой. Ты и грамоты не знаешь. Вон сколько у тебя недостатков!

«Казанская сирота» сердится, говорит, что все это не имеет никакого значения для женитьбы. Он — татарин, а у татар свои обычаи и законы.

Тогда я спрашиваю:

— А ты хоть свою невесту видел?

— А как же! Один раз видел — она шла за водой.

— А она тебя?

— А зачем ей видеть? — Он снова сердится. — Сам говоришь — не красавец, не молодой парень.

— И не разговаривал?

— Ты что — смеешься?

Я с удивлением смотрю на него.

— Как же ты мог тогда надеяться?

Он поднимает письмо, разглаживает его на колене, сует в карман.

— Ты никому не рассказывай. А то ребятка засмеют.

— Ладно, — говорю я.

Он тяжело вздыхает:

— А деньга собирать все равно надо. На другой девушке, но жениться все равно надо.

И уходит, сгорбив плечи, осторожно переступая ногами. Я смотрю ему вслед. Жалко Шаркова. Вот и сбавили ему на сотню калым! Лучше бы я не писал ему письма в Татарию. Да и ответ бы пусть у него пролежал в сундучке... хоть десять лет!

Нащупав в кармане ключи Зары Сааковой, я иду искать Угрюмого старика. «И куда он запропастился?» — думаю я с раздражением.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Романтик, выбежав из-за домика охраны, отчаянно машет мне рукой:

— Иди скорее, Гарегин! Случилось чудо! Глухонемой заговорил! Тебя ищет.

— Не может быть!.. С чего это он заговорил? — кричу я ему.

— Пришел ответ от Калинина!.. Сам начальник почты принес!.. Правительственная!..

— Подожди минутку! — Я встряхиваю половичок, взятый у тети Варвары, и с сожалением покидаю этот укромный уголок на пустыре, где в последние дни после работы я так хорошо уединяюсь с этой — будь она неладна! — немецкой грамматикой, во всю глотку твержу вслух немецкие глаголы: вокруг — ни души.

— Ну, живее ты можешь? — торопит Романтик.

— Как же это он заговорил? — спрашиваю я, лукавя.

— А так и заговорил!.. Прочел письмо да как завопит: «Братцы, есть правда на земле!»

В нетерпении Романтик быстрым шагом уходит от меня.

Я закидываю половичок на плечо и догоняю его.

Барак гудит от громких голосов, шума, смеха, криков. Слышны характерные «ребятка» Шаркова.

С трудом я продираюсь к столу, окруженному плотной стеной грузчиков: здесь и наши и не наши.

Увидев меня, Иван Степанович поднимается со скамейки, дружески треплет меня по спине тяжелой ладонью, потом звонким шлепком по плечу толкает от себя:

— Вот он — герой! Михаилу Ивановичу он писал!

Вокруг раздается:

— Видать — легкая рука у Гарегина!

— Ай да Докер! Башковитый!

— Такой молодой, а соображает!

Я делаю вид, что все эти одобрительные слова относятся совсем не ко мне, верчу в руках и так и сяк конверт, весь разукрашенный печатями и штампами, потом уж тянусь к Ивану Степановичу за письмом.

А вокруг орут:

— Магарыч, магарыч с тебя, Иван Степаныч! Так домой не отпустим!

— Будет, будет магарыч! — отвечает счастливый Иван Степанович. — Будет, товарищи! Раз верх взяла правда — разделю свои небольшие капиталы на две части, одну оставлю на дорогу, вторую пущу на пропой души!

— Молодец старик! Уважает правду!

— Устроим пир на весь мир! Обмоем правду!

— А слышать-то хорошо слышишь? — любопытствует Романтик, судя по всему очень взволнованный происшедшим.

— Да вроде, — отвечает Иван Степанович и почему-то, как после купания, зажимает ладонями уши.

Я опускаю начало письма, скорее добираюсь до сути ответа. Вот что пишут Ивану Степановичу из Секретариата Калинина: «...вопрос о Вашем выселении, как и некоторых других жителей Вашей деревни, был снят комиссией еще осенью прошлого года при проверке списка раскулаченных по Крестецкому району Ленинградской области. Так как Вы не пользовались наемной силой, хозяйство у Вас было середняцким, то Вы не подлежали раскулачиванию, а значит, и выселению.

Ваш дом и приусадебный участок (фруктовый сад) сейчас находятся под наблюдением сельсовета. Как нам пишут оттуда, Вас давно разыскивают по району и области. В сельсовете теперь надеются, что как только Вы вернетесь домой, то возглавите колхозное садоводство; они высоко ценят Ваш опыт, Ваши знания специалиста-садовода...»

От нахлынувшей на меня радости я последние строчки читаю вслух.

Вокруг ахают — в который раз, видимо.

— Есть, есть правда на земле! — кричит Иван Степанович. — Теперь шабаш, ребята, еду домой. Спасибо Михаилу Ивановичу.

— Про магарыч не забудь!

— Хоть водку с селедкой поставь!

— Не забуду, братцы!.. Обмоем правду!..

— Надо же: полтора года человек мотается по свету, не знает: нету за ним никакой вины!

— Ис-то-ри-я-я!

— Хорошая работа — садовод! — говорит Шарков.

— Не пыльная! Это тебе не цемент таскать!.. — смеется Романтик.

* * *

Устроить вместо жалкого магарыча — «водки с селедкой» — хорошие проводы подбил Ивана Степановича Сааков. Ошалелый от радости, на все согласный, тот целиком отдался в его опытные руки. А что они были такими, мы узнали очень скоро. И не только по части проводов!

Начал Сааков с того, что избрал себе помощников. Такая честь была оказана тете Варваре, без которой все равно было не обойтись в его хлопотливых затеях, и мне... как «герою дня», хотя я сразу, конечно, догадался, что нужен ему, как «молодой и быстроногий», которого можно гонять по всему городу за каждой мелочью. Так оно и случилось.

На другой день — воскресенье. Прихватив Ивана Степановича, мы в шесть утра на одном из первых трамваев трясемся на базар. У каждого в руке по зембилю.

— Чем кормить-то народ будем? — С озабоченным лицом тетя Варвара наклоняется к нам и на пальцах перебирает все те блюда, которые она могла бы сготовить... будь в общежитии кухня, как у людей, а главное — посуда. Но ни того, ни другого, как известно, в бараке нет.

Сааков слушает ее с загадочной улыбкой.

— Я знаю такое блюдо, — говорит он. —

Для его приготовления ие требуется ии кухня, ии посуда. Самое сытиое и вкусное блюдо!

— Что иадумал-то? — Тетя Варвара искоса смотрит иа него.

— Да шашлычок!..

— Шашлычок?.. Не знаю, как насчет сытиости-то, ио приготовить его — дело иехитрое, — снисходительио соглашается тетя Варвара. — Любая дура справится.

— Это что — мясо жареиое? На таких палочках? — Иван Степанович иедовольио морщит лицо, чем вызывает иегодующие взгляды у сидящих иапротив, иевольиых свидетелей нашего разговора. — Немудреиая штука!

— Немудреиая, верио, ио человек еще иичего вкусиее ие придумал! — Сааков наклоияется к Иваиу Степаиовичу, по старой привычке чуть ли ие кричит ему в ухо: — А тебе — еще и память о Баку. (Иван Степаиович похлопывает себя по ушам, иапоминая Саакову, что он прекрасио слышит. Тот переходит иа шепот.) Приедешь в свои севериые леса, спросят: «Был иа Кавказе?» — «Был». — А шашлычок ел?» — «Какой еще шашлычок?» — скажешь. Ну, и будут смеяться: про шашлычок весь мир зиает.

— Верио! — всплескивает руками сидящий иапротив иас грузиый человек в чесучовом костюме. — Ничего вам лучше шашлычка не придумать.

Остальиые, сидящие слева и справа от него, молча и с достоииством кивают головой.

Иваи Степаиович с удивлением смотрит иа иих и соглашается иа шашлычок. Ему теперь все равио, что приготовить. Шашлычок так шашлычок! Мыслями своими он уже далеко, дома. Это хорошо видио по иему: вдруг у него становится задумчивым лицо, иа все ои смотрит каким-то отсутствующим взглядом.

Тетя Варвара тоже склоияется к шашлычку; для его приготовления и посуды иикакой ие надо.

Ну, а я подавно, конечно, за шашлычок. Сааков прав: что может быть вкусиее?

Как только мы сходим у базара, Сааков тащит нас в мясиой ряд.

— Дал бы хоть огляиуться, что делается на базаре-то, — недовольио бурчит тетя Варвара.

— Потом, потом! — торопит Сааков.

В мясиом ряду стоит иеумолчный крик мясников; наперебой оии зазывают покупателей. Мяса много, и, по сравнению с цеиами на другие продукты, оио стоит дешево. В деревиях, иесмотря иа августовскую жару, многие режут скотину, в особеииости в районах, где туго идет коллективизация. Спешат до вступления в колхоз отделаться от всякой живности.

— Сколько же мы возьмем бараиины иа шашлычок? — спрашивает Иваи Степаиович.

Тетя Варвара вопросительио смотрит на Саакова:

— Хватит и трех килограммов-то?

— Это иа шашлычок? — Сааков останавливается. От иегодоваиия даже багровеет. — Первого блюда у тебя ие будет?.. Закуски тоже?.. Чем иарод кормить будешь?.. Шашлычка должно быть миого. По килограмму на человека.

Иваи Степанович хватается за голову:

— Ты что, друг, разорить меня хочешь? Мие же ведь в дорогу.

Что-то вроде стона вырывается и из груди тети Варвары.

Я же, глядя иа них, весело хохочу. Ай да Угрюмый старик! Силеи! Скажи пожалуйста, как он развернулся. Да ои ли это?

— Кроме килограмма иа человека, — иевозмутимо продолжает Сааков, — иужен еще запасец. На запах шашлычка ведь сбежится миого всякого иароду.

— Что же у иего за такой особенный запах? — слезио спрашивает Иваи Степаиович.

— А такой, что любого с ума сведет!..

Сааков толкает иас в одиу из лавок, где особеиио много мяса. Видимо, только что привезли. И мух здесь меиьше, и чище как-то. Он перебрасывается иесколькими фразами по-азербайджаиски с мясником, и тот, взяв топор, широкий, как нож гильотины, иачииает кружить у бараньих тушек, натыканиых вдоль стеиы на здоровенные крюки.

Схватив тушку и швырнув ее на колоду, мясник предлагает нам взять ее целиком. Но Сааков отказывается. Ои ие хочет отходов, просит отрубить ему мякоти и грудинки от разиых тушек.

— Нам же на шашлычок! — умоляюще просит ои.

— На сколько человек, дорогой? — с удивлением спрашивает мясник, заиеся над собой топор-гильотину. — Свадьба гуляем?

— Какая летом свадьба? Вот иашего друга провожаем. Едет далеко, иа север России.. — И Сааков с любовью треплет Ивана Степаиовича по плечу.

Гакиув, мясник опускает топор, одним ударом перерубая тушку пополам...

Так как я самый «молоденький», то мие, коиечио, и приходится нести мясо. А его — пудик. Взвалив зембиль на спину, я плетусь за Сааковым.

— А теперь возьмем луку, — Он ведет нас в овощной ряд и протягивает руку за зембилем Ивана Степановича.

— А лучок-то для чего? — спрашивает тот, еще не поимая, зачем Саакову поиадобился и его зембиль.

— Шашлычок лук любит.

— Сколько ты думаешь его взять?

— Да клади килограмм иа килограмм.

— Это луку пуд? — Лицо у Иваиа Степановича вытягивается от изумлеиия. — Нет, ты меня совсем разоришь перед дорогой.

— На луке-то? Чепуха, — машет рукой Сааков.

Лук распределяется по восемь килограммов в двух зембилях. Один несет сам Сааков, второй — Иван Степанович.

Но Ивану Степановичу уже стало весело от размаха Саакова. И когда мы подходим к продавцу помидоров, то тут он уже сам предлагает:

— А не взять ли нам помидоров пудика два?

— Нет, помидоров хватит и пять килограммов, — говорит Сааков. — Его не каждый любит на вертеле.

Продавец отвешивает шесть килограммов! Помидоры забирает в свой зембиль тетя Варвара.

— Ну и немножко возьмем баклажанчиков... — Сааков начинает перебирать синенькие.

— Шесть или шестнадцать килограммов? — Иван Степанович толкает Саакова локтем в бок.

— И трех хватит, — смеется Сааков.

Баклажаны тоже забирает в свой зембиль тетя Варвара.

— Мясо, лук, помидоры и баклажаны! Дешевле обеда и не придумать, — смеется Сааков.

Мы пересекаем весь базар, хотя нам теперь это уже ни к чему, с единственной целью, правда, чтобы сделать приятное тете Варваре. Потом идем к трамвайной остановке.

Но только вернувшись к себе в барак, мы узнаем, с какими хлопотами связано приготовление шашлыка. От этих хлопот мы освобождаем Ивана Степановича. На радостях он направляется в баню.

Главная задача у всех нас — чистка лука. Ведь его, проклятого, целый пуд! Гора! Потом — тысяча других дел: надо достать льда, чтобы сохранить мясо в такую жару, древесного угля для жарения (шашлычок, приготовленный на нем, имеет особый, пьянящий вкус, говорит Сааков), шампуров, посуды, специй.

Но лук, лук!.. Вооружившись ножами, на его чистку выходит вся наша артель, как на аврал. Теперь я очень даже рад тому, что являюсь помощником Саакова: схватив мешок, я бегу за углем в Черный город — подальше от лука! В Черном городе много нефти, ее можно черпать ведрами в любой канаве, но угля нет. Тогда я сажусь в трамвай и снова еду на центральный рынок.

Возвращаюсь я часа через полтора. Во дворе все еще чистят лук! С глазами, полными слез, сидят вокруг таза.

А мне — снова поручение! Теперь я еду на Баилов, с запиской Саакова, к его знакомому за шампурами.

Мне открывает дверь высокий плотный грузин. С большой неохотой он достает шампуры и вручает мне их с длинным наставлением; говорит, что они редкостные и чтобы мы их берегли пуще своего глаза. Да, шампуры у него и на самом деле какие-то редкостные. Таких я никогда не видел. Они, во-первых, луженые (всегда же они черные!), во-вторых, чуть ли не вдвое длиннее обычных шампуров, и в-третьих — по форме своей напоминают рапиры.

А во дворе все чистят лук. То один подойдет, то другой, почистит несколько луковиц, прослезится и убежит. Но очищенный лук еще надо нарезать!..

Снова я лечу в город! На этот раз за уксусом и перцем.

Но меня, оказывается, уже ждут. Говорят, что я очень долго пропадал. Нарезано много лука и мяса.

Сааков начинает священнодействовать. Он кладет в таз толстый слой лука, потом — слой мяса, густо солит, перчит, поливает уксусом и снова кладет толстый слой лука, потом — мяса. И так, пока таз не наполняется до краев. Тут он засучивает рукава по локоть и месит мясо с луком, как тесто.

На очереди у него еще два больших таза.

* * *

Праздничное веселье царит во дворе за накрытым столом. Гуляют грузчики наши и не наши. Людно и у двух мангалов, где Сааков на рапирах жарит шашлычок. Да, шашлычок у него действительно какой-то особенный, запах его на самом деле может любого свести с ума. И не свел ли уже?.. Вон как брызжут все весельем!.. Хохочут, дурачатся, поют!.. Отчего, на самом деле, такое ликование?.. Радуются чужому счастью?.. Или своим надеждам: такое может случиться с каждым?.. Нет, радуются — восторжествовала правда. Обмывают правду...

А правда преображает человека. Это я хорошо вижу по Ивану Степановичу. Вон каким он выглядит молодцом! Оттого ли, что сходил в баню, переоделся в обнову: синюю сатиновую рубаху, серые брючки в полоску, хотя и простого материала, в новые сандалии?.. Нет!.. Выпрямил спину, перестал горбиться, скинул груз, что давил его к земле. И грыжа его теперь не так мучает, и припадать на правую ногу он перестал. Вчера вечером я посоветовал ему до отъезда домой лечь в больницу, вырезать ко всем чертям грыжу, — отказался, говорит, не мешает. Съездит за женой, наладит дела дома, потом уж как-нибудь выберется в Новгород; там тоже хорошая больница.

Звенят граненые стаканы, и приглушенно хрустят жестяные кружки, и тосты, тосты, один длиннее другого, произносятся за столом...

Я делаю глоток и с отвращением отставляю кружку. И как пьют такую гадость?.. А вот — пьют! Да еще с каким наслаждением! И за что только не пьют!..

Киселеву желают стать строителем!

Шаркову — хорошую жену!

Романтику — поступить на рабфак!

Саакову — примирения с дочерью!

Тете Варваре — примирения с сыновьями!

Конопатому, новому члену артели, — конягу!

Мне — скорейшего наступления мировой революции!..

Но я вижу, что за столом есть и такие, кто не пьет, не ест, кому даже шашлычок становится поперек горла. Не могут радоваться чужому счастью? Не питают никаких надежд в жизни?.. Вон Чепурной — ни с того ни с сего оттолкнул от себя тарелку, резко встал и ушел в барак... А ведь никто его не обидел, никто плохого слова о нем не сказал: Горячится? А с чего?..

Снова звенят граненые стаканы, хрустят жестяные кружки. С добрыми пожеланиями прощаются наши грузчики с Иваном Степановичем. Он пьет ничуть не меньше других, но не пьянеет, держится с достоинством, благодарит за добрые слова.

А потом, вдруг распалясь от умиления, от праздничного угара, он распахивает ворот рубахи, рассказывает, что думает делать со своим садом по возвращении домой, как он превратит его в колхозный сад: присоединит к нему одичавший, наполовину вырубленный бывший барский сад, который давно превратили пастухи в выгон для скота; прихватит косогорчик у реки; если дадут — заберет и пустырь, раскинувшийся справа от его дома. В деревне будет большой колхозный сад! Он не только будет красивый, не только прославится редкими сортами яблок, но еще и доход принесет! Да, он знает: колхозу нужны большие деньги на покупку тракторов и других машин, на строительство колхозной усадьбы. В новом саду теперь следует главным образом насадить поздние, зимние сорта яблонь, чтобы по зиме яблоки продавать по выгодной цене в Пскове, Новгороде и в Ленинграде! За саженцами сам поедет в Старую Руссу и в Шимск. У него там много хороших друзей-садоводов. Садоводы, известное дело, дружное племя, всегда выручают друг друга, дадут ему саженцы самых что ни есть лучших сортов яблонь. А может быть, он еще махнет в город Козлов, к Мичурину — слыхали про такого знаменитого садовода-опытника? — тот пособит разумными советами, узнает, что затевается такое большое дело для колхоза, даст десяток-другой саженцев «мичуринских» сортов...

Слушая Ивана Степановича, я мысленно переношусь на далекий и незнакомый мне север...

Да, я хорошо знаю его сад. Мне кажется, что я в нем бывал десятки раз, мы с ним старые друзья. Я бы его узнал среди тысячи других садов! (Так мне запомнился рассказ Ивана Степановича в ту памятную ночь!) С одной стороны сад огорожен каменным забором, оставшимся еще от барина (забор тогда огораживал барина, а не Ивана Степановича!), с другой — выходит на реку, на поросший кустаринком косогор, с третьей — обнесен простым деревенским частоколом, а вот со стороны дома его уже огораживает изгородь из резных плашек, вызвавшая по первому году столько завистливых пересудов, а потом принесшая ему столько горя: плашки-то эти, будь они неладны, были одной из причин того, что Ивана Степановича причислили к богатеям деревни, а потом занесли в список на раскулачивание. А мастерил он эти плашки долгими зимними вечерами сам, от нечего делать, желая сделать свой сад еще красивее.

Особенно мне запомнилась в этом чудесном саду любимица Ивана Степановича — «королевская анисовка». Это дерево удивительно своей плодоносностью: если верить Ивану Степановичу, он собирал с него больше двадцати пудов яблок. Отличается дерево от других яблонь также своей необычной формой. Трудно его представить по рассказам Ивана Степановича! Но мне дерево кажется... атлантом. Стоит он по колени вросший в землю, откинувшись назад, чуть ли не касаясь спиной земли (это — основной ствол). И высоко простирает в небо руки!.. Эти могучие руки (два мускулистых, разветвляющихся с боков ствола) о чем-то молят... Вокруг «атланта» Иван Степанович не косит траву, как под другими деревьями, чтобы, падая, яблоки сильно не бились; под ветки ставит частокол подпорок — штук двадцать, а то и более, — чтобы дерево не разломилось от тяжести плодов.

Запомнил и знаменитую яблоню — «шатер». У этой, в отличие от анисовки, прямой, как у ели, ствол, что так редко бывает у яблонь. И от самой макушки до низу на ней друг на друга ниспадают длинные, упругие ветки, густо покрытые яблоками.

Есть у Ивана Степановича в саду яблоня, напоминающая рогатину, другая — растопыренную пятерню. Много в саду привитых деревьев. На «интернационале», например, у него растут яблоки десяти сортов, и среди них «иона», каким-то чудом попавшая из Польши.

У этого сада есть еще одна удивительная особенность: он «стучит». Слышали вы когда-нибудь что-либо подобное?.. «Тук-тук!» — стучит сад. «Тук-тук-тук!» Это в разных его концах падают яблоки: от ветра, от дождя, просто от тяжести. Но сад не оскудевает. Осенью в нем все равно собирают богатый урожай.

Рядом со мной садится Шарков. Он уже пьяненький. Заплетающимся языком бормочет:

— Небось Ивану Степанычу хорошее письмо написал... Ему и ответ хороший пришел из Москвы... А для меня не мог постараться... А еще говоришь: друг!.. Отказала даже Зарифа...

Я пытаюсь ему объяснить, что тут никакой моей вины нет, но куда там! Он и слушать не хочет. Все твердит себе: не постарался, не постарался!

— Лучше иди-ка ты, Шарков, и выспись, — говорю я ему.

— И пойду! — обиженно отвечает он и встает.

Потом мне приходится выслушивать жалобы тети Варвары на своих сыновей.

— Написал бы письмишко какое, пристыдил бы их, что ли! — говорит она.

— Хорошо, — говорю я.

Ох уж эти мне ее сыновья! Слышать о них не могу! Я давно успел возненавидеть их. В моем представлении — это изверги какие-то. Старший — далеко, черт с ним! Но младший, младший, Федор!.. Ведь работает тут, на острове Артема, в каких-нибудь двадцати или тридцати километрах. Мог бы приехать, навестить мать.

Подходят по двое, по трое и какие-то посторонние. Все больше крестьяне. Это те, что сбежались на запах шашлычка. И все — под хмельком. И все просят, чтобы я помог им найти правду. Не думают ли они, что я какой-нибудь там Иисус Христос?

ГЛАВА ШЕСТАЯ

По пути домой после работы — она была очень тяжелой сегодня: грузили нефтяное оборудование для новых татарских промыслов — нас у лесной пристани встречает ватага экспедиторов различных торговых контор. Их человек десять, все с портфельчиками; только у одного — желтый кожаный, с монограммой, видимо, подарок ко дню рождения, у остальных — замасленные парусиновые. Зовут экспедиторы на «шабашку» выгружать муку, цемент, стекло, подтоварник и еще бог знает что.

Судя по всему, на пристанях и на складах, раскинувшихся по берегу до самого Черного города, за последние дни накопились сотни неразгруженных вагонов, и экспедиторы сегодня не будут скупиться на оплату. Штрафы ведь им обходятся намного дороже.

И правда, они не торгуются, соглашаются на любые условия, торопливо уводят грузчиков, боясь, как бы их не перехватили другие.

Вскоре из шабашников на пустыре остаемся только мы вдвоем с Шарковым. Он толкает меня в бок, шепчет:

— Вот когда мы поправим наши дела!.. И больше не будем играть в карты. — Тут «Казанская сирота» пускает смачное ругательство в адрес «одесских шахтеров».

Я отхожу в сторонку и покуриваю себе, а он бойко переспрашивает экспедиторов, что у них за груз, где находится, как далеко его носить от вагонов, запрашивает за все немыслимую цену. Наконец он сговаривается с обладателем желтого портфеля, украшенного монограммой.

Мы идем вслед за экспедитором. У него очень благообразный вид: он никак не похож на своих собратьев — портовых пройдох. Видимо, в недавнем прошлом не то присяжный поверенный, не то какой-нибудь трестовский спец. И еще на профессора смахивает, — пожалуй, больше всего на профессора. Уж очень у него добротный, из толстой кожи портфель. Плюс к этому — бородка, шевелюра, чесучовый пиджак. Определенно профессор!

Шарков снова толкает меня в бок, шепчет:

— Дураки пошли разгружать муку и доски. Заработают по пятерке на брата. А мы с тобой сразу загребем по мешку деньга!

Вот и забор склада. Вот и ворота, калитка. Входим во двор. Посреди стоят два пульмановских вагона: один пустой, другой с грузом.

«Казанская сирота» откатывает дверь вагона, и я вижу: от самых дверей он плотно забит бочарной клепкой.

— Да, на совесть набит вагон, — говорю я и почтительно обращаюсь к «профессору»: — Интересно, сколько здесь может быть тонн клепки? — Вопрос мой имеет не столько риторический, сколько практический интерес.

«Профессор» откашливается, поскребывает свою бородку и, скосив на меня один глаз, лениво цедит сквозь зубы:

— Известное дело, пульман набивают и на тридцать, и на шестьдесят тонн. Но играет, конечно, роль и характер груза.

Хитер «профессор». Не ответил на мой вопрос!

Шарков смотрит на меня с таким недовольным видом, точно хочет сказать: «Ну, какое твое дело, сколько в вагоне тонн клепки? Какое значение это имеет сейчас?.. Что ты портишь дело?..»

Я поднимаюсь в вагон, беру в руки одну клепку. Она метра полтора длиной, тяжелая, что камень, весит, наверное, не меньше пятишести килограммов.

— Здесь, видимо, не меньше пятидесяти тонн, — осторожно и деликатно говорю я, чтобы, не дай бог, не обидеть «профессора». — Вы сомневаетесь? Тогда, будьте добры, посмотрите в накладные.

«Профессор» снова покашливает, — благородно отвернувшись! — и признается самым неожиданным образом:

— Н-да, вас, чертей, обмануть трудно. Дошлый народ! Чистого груза здесь и на самом деле около пятидесяти тонн.

— Двадцать пять тонн на брата? — Я невольно свищу и спрыгиваю вниз.

— Но зато и деньги немалые! Шутка ли сказать — заработать за вечер месячное жалованье! — Теперь свистит «профессор». — Вы мне подпишете расписку на сто пятьдесят рублей, я заплачу вам сто двадцать. — И он весь расплывается в угодливой улыбке, глаза так преданно, по-собачьи смотрят. — Вам по шестьдесят

на брата, мне — тридцатку детишкам... (На молочишко?.. Нет!) на какао и черную икорку.

Ай да «профессор». А я-то думал...

Шарков охотно соглашается на условия экспедитора.

— Ты не балуй, Гарегин! — он толкает меня в бок. — Так везде пишут. — Ему не терпится скорее приступить к работе.

— Учти, Шарков, нам вдвоем будет трудно, — предупреждаю я его, со страхом глядя на раскрытую дверь вагона, на стену клепки. — Шутка ли сказать: пятьдесят тонн! Это же три тысячи пудов!.. Я бы еще кого-нибудь позвал в компанию.

— Что ты, что ты!.. Что же тогда мы заработаем?.. Никого не надо! Сами выгрузим! — Он ловко карабкается в вагон, сбрасывает первый ряд на землю, за ним — второй и третий. Это удается ему легко, благо первые ряды сложены не до самого верха.

— Тише, черт! — кричу я ему. — Давай пока это снесем.

Он сбрасывает еще один неполный ряд, спрыгивает на землю, и мы начинаем чуть ли не бегом носить клепку к забору, складывать в поленницу. Размышлять нам больше не о чем и некогда.

— Запомните, ребята, — уходя к себе в конторку, напоминающую собачью конуру, как бы между прочим говорит экспедитор, — произвести расчет с вами могу только за полностью выгруженный вагон. Чтобы не было потом никаких недоразумений.

Но слова его как-то скользят мимо моего сознания, да и Шарков не придает им значения.

Наше дело теперь знай себе носи и носи клепку, не мешкай, не отвлекайся на разговоры. Сорок шагов — к поленнице, сорок — обратно.

— Как думаешь, к полночи выгрузим вагон? — спрашивает Шарков, когда мы заканчиваем уборку сваленной клепки.

— Да надо бы, — отвечаю я и лезу в вагон. Теперь моя очередь разбирать клепку.

Но это не так легко сделать. Клепка сложена до самого верха. Неизвестно, как к ней подступиться. Ведь не разбирать же ее по одной штуке! Тогда нам вагон и за месяц не выгрузить. Да и рост у меня совсем не богатырский. Видимо, остается один выход: валить клепку, как это делал Шарков, а потом класть ее в дверях вагона концами вперед, чтобы удобно было брать снизу на плечо.

Но как валить? Я пытаюсь подступиться к клепке и так и сяк, и ничего у меня не получается.

— А ты потихоньку выдерни снизу одну, остальные сами повалятся, — говорит Шарков.

Я пытаюсь последовать его совету, но на меня угрожающе смотрят верхние ряды. К тому же клепка так просто не дается. Видимо, ее надо выдергивать сильным рывком, а не осторожным оттаскиванием в сторону.

Напружинившись, не сводя глаз с верха, я предусмотрительно нащупываю внизу конец клепки, коротким рывком отвожу ее в сторону и отбегаю назад; снова отвожу в сторону и отбегаю; и только при третьей попытке дергаю клепку изо всей силы.

Весь ряд с грохотом валится вниз. Я едва успеваю отбежать к двери.

— Ну вот видишь, совсем и не страшно, Гарегин, — говорит Шарков. — Ты складывай клепку в дверях, я буду носить. Потом я полезу в вагон.

Я так и делаю. Складываю по четыре штуки вместе, кладу их рядышком, потом с большой опаской валю следующий ряд. Но третий ряд дается мне труднее, он плотный, на совесть сложенный, одна из клепок отскакивает в сторону и сильно ударяет меня по левому плечу, с минуту я стою с онемевшей рукой.

Но вот смеркается. Вскоре становится совсем темно. Посреди двора горит одна-единственная угольная лампочка, еле-еле освещая наши поленницы. Складывать клепку становится труднее. Поленница получается кособокой, и все мои старания выправить ее ни к чему не приводят.

Когда я приношу новую порцию клепки, поленница у меня с грохотом валится набок.

— Что случилось у тебя? — кричит мне Шарков.

— Да чертова поленница обвалилась!

— А ты аккуратнее складывай! — орет он на меня, но прибегает на помощь.

Мы начинаем торопливо разбирать и заново складывать поленницу, потом вместе идем разгружать вагон.

Из конторки, насвистывая, выходит экспедитор, несет нам зажженную «летучую мышь».

Я вешаю лампу посреди вагона, в ярости подхожу к клепке, резким рывком выдергиваю одну снизу и быстро отскакиваю в сторону. Чуть ли не одновременно валятся три или четыре ряда.

— Ай да молодец! — хвалит Шарков. — А ты боялся.

Я оставляю его подносить сваленную клепку к дверям, а сам прыгаю вниз и начинаю носить и складывать новую, четвертую поленницу.

Но работа у меня продвигается медленно, да и носить становится труднее: ноги не слушаются.

Четвертая поленница хотя и поднимается все выше от земли, но так медленно, что у меня вскоре пропадает всякая охота работать. Я лезу в вагон.

— Нет, нам, кажется, не выгрузить этот чертов вагон! — говорю я, садясь в дверях и закуривая. — Может, бросим, а?

— Что ты, что ты! — испуганно отвечает

Шарков. — Разве начатую работу бросают? Считай, по десятке мы уже заработали.

Но, дымя папиросой и глядя на черную стену клепки, возвышающуюся до потолка справа и слева от дверей, я убеждаюсь, что если мы вдвоем и неделю будем так же из кожи вон лезть, то и в этом случае нам вагон не выгрузить.

— Может, позовем в компанию экспедитора?

Шарков молчит, но в бессильном гневе хватает с пола охапку клепки и швыряет ее рядом со мной в дверях. Навалив кучу, он говорит, тяжело дыша от усталости:

— Ты сошел с ума, Докер...

— Нет, не сошел, Шарков. А позвать — надо!

Он сует мне под нос кулак:

— Я тебе дам — надо!..

Я вскакиваю на ноги, отталкиваю его от себя:

— Ну и жадюга ты, Шарков!.. Ладно, заплачу ему из своей половины.

— Дурак ты, Докер... Кто же делится заработком?

Я с сожалением смотрю на него. Чувствую, что-то вдруг надломилось у меня внутри. Я всегда его жалел — старика несчастного, полуслепого, а он, оказывается, может быть вон каким, потерять рассудок от жадности...

Я спрыгиваю и иду к конторке. Стучу в окно. Вижу: экспедитор поднимает голову с дивана.

— Что там случилось у вас? — спрашивает он.

— Не пойдешь ли к нам в компанию? — Плевать мне на его профессорский вид! — Втроем веселее было бы работать, — говорю я.

Он молчит, потом говорит:

— Что ж, часок-другой могу потрудиться. Двадцатку отвалите?

— Отвалим, — говорю я. — Нам и по пятидесяти рублей хватит.

Экспедитор выходит, переодевшись в черную спецовку, и мы шагаем к вагону. Он берет наплечную подушку Шаркова и по моему примеру начинает носить клепку. Но вскоре отбрасывает с кучи четвертую клепку. Ни я, ни Шарков ничего ему не говорим. Ладно, пусть носит хоть по три клепки, тоже дело.

Потом он отбрасывает и третью клепку.

Мы опять молчим. Ладно, гад, носи хоть по две штуки.

Но, сходив еще несколько раз, экспедитор хватается за поясницу, стоит:

— Ох, ох, кажется, повредил себе спину!

Шарков радуется:

— Будешь, брат, знать, как грузчику дается деньга!

— Это я знаю, — отвечает экспедитор и снова берет на плечо две клепки. Но, вернувшись, посылает нас ко всем чертям, швыряет подушку в вагон и уходит к себе в конторку.

Опять мы остаемся с Шарковым вдвоем... и это его радует!..

Все тяжелее и тяжелее носить клепку. Иду я медленно, еле передвигая ноги, точно они свинцовые. Я теперь тоже беру на плечо не четыре, а три клепки, но это не меняет положения. Все равно тяжело. Видимо — сильно устал за день.

— Может, все же бросим эту проклятую клепку? — говорю я Шаркову, вернувшись к вагону.

— Что ты, что ты!.. — Шарков чуть ли не бегом подносит к дверям все новые и новые охапки клепки и далеко выдвигает их из вагона. — Как перевалим за половину — веселей пойдет у нас работа! Потерпи немного, Докер.

Он спрыгивает на землю, и мы снова начинаем вместе носить клепку к поленнице. Но работаем молча, с какой-то отчужденностью. У меня никакого желания заговорить с ним.

Я замечаю, что и он устал, идет шагом, а не бежит, как раньше, часто спотыкается на ровном месте: ведь в такой темени он ни черта не видит.

— Теперь твоя очередь лезть в вагон! — Шарков садится отдыхать, привалившись к поленнице. Он тяжело дышит.

Но я, вместо того чтобы идти к вагону, направляюсь к конторке, стучу кулаком в окно.

— Слышь, может, заплатишь нам половину? — кричу я экспедитору. — Вагон нам целиком не выгрузить.

Экспедитор выходит из конторки, долго чмокает губами, точно обсасывает вкусную косточку, говорит:

— Таких прав не имею. Я предупреждал! Не выгрузите — дело ваше. Оформить расписку на половину работы никак не могу. Сам тоже остаюсь на бобах!

— Это вы... насчет какао и черной икорки?..

Он не отвечает. Только с достоинством покашливает.

— Как же нам все-таки быть? — спрашиваю я.

— А это уже ваша забота! — Он уходит к себе. Дверь захлопывает с силой. Даже позванивает стекло в окне.

Я возвращаюсь к Шаркову.

— Нет, работать я больше не буду, — говорю я ему. — Не могу. Устал.

Он вскакивает, пытается уговорить меня:

— Потерпи, потерпи, Докер! Скоро уже перевалим за половину. Там дело пойдет к шабашу... Разве тебе деньга не нужна?.. Сам говорил: товарищам надо помочь.

Знает, чем меня взять! Рассказывал я ему как-то о ребятах.

— Да, ты прав, надо послать им немного деньжат. В особенности — нашему Сашко в Донбасс...

— Вот видишь, вот видишь! — радуется он. — Твой Сашко сидит без работы, ему кушать нечего, а ты не хочешь помочь.

— Помогу в другой раз. С получки! — Я твердо стою на своем. — Клепку носить больше не буду. Не могу. Устал.

— Шаркову ты никогда не хочешь помочь. А еще говоришь: «Казанская сирота» — друг мне! — И он снова высказывает свою обиду (не забывает же!): — Вон Ивану Степанычу какое хорошее письмо написал! Калинина разжалобил!.. А мне даже Зарифа отказала.

— И все равно клепку я больше носить не буду. Не могу.

— Это твое последнее слово? — с угрозой спрашивает он.

— Да. Я пошел домой.

Он ругает меня по-татарски, потом говорит:

— Смотри, Докер. Ни копейки тогда не получишь от меня. Сам выгружу. Один. Ты Шаркова еще не знаешь.

— Выгрузишь — за месяц?.. За неделю?..

— Увидишь — к утру выгружу! — вдруг в ярости кричит он, толкает меня в спину, чтобы я скорее ушел, и карабкается в вагон.

— Ну и бог с тобой! — говорю я и направляюсь к калитке.

В вагоне раздается дьявольский смех, потом я слышу:

— Ай да здорово будет! Шарков один заработает сто двадцать целковых! — И на радостях он во всю глотку запевает своего «мордвина». Ну и жаден же черт! Ох и жаден!

«Если с помощью «мордвина» он может столкнуть с места пульмановский вагон, то почему бы ему одному и вагон не выгрузить?» — размышляю я, открывая калитку, и, закинув наплечную подушку за спину, ощупью направляюсь берегом в сторону общежития. Удивительно темная ночь.

Но в то же время меня мучает совесть: оставил товарища одного. Нехорошо!.. Дойдя до складов Азнефтесиндиката, я останавливаюсь, потом поворачиваю обратно. Но мне с трудом дается каждый шаг. Я еле передвигаю ноги. Не свинцом ли они, на самом деле, налиты?

«Нет, ничем я не смогу помочь Шаркову, — признаюсь я себе в отчаянии, сделав каких-то двадцать или тридцать шагов. — Устал смертельно! Мне бы сейчас только добраться до своей койки...»

И снова я ощупью двигаюсь в сторону общежития.

Видимо, уже первый час. В бараке полумрак, горит только лампочка над столом, обернутая обуглившейся газетой.

Я смотрю на топчаны. Наши все на месте. Успели поработать на шабашке и спят. Счастливцы!

Не спит только Чепурной. Глаза у него широко открыты, он смотрит в потолок, о чем-то мучительно думает. Заняв топчан Ивана Степановича у окна, он точно перенял и его привычку: тоже не спит по ночам.

Я снимаю рубаху и тут только чувствую пронизывающую всю спину боль.

— Много заработал? — спрашивает Чепурной.

— Кукиш с маслом! — зло отвечаю я ему и раскрываю постель. Накрывшись с головой простыней и уже засыпая, я почему-то вдруг вспоминаю Ивана Степановича, его памятные проводы, думаю: «Как он доехал до места? Как его встретили в деревне? В каком виде он нашел свой знаменитый сад? Целы ли его яблони — «атлант», «шатер» и другие? По-прежнему ли «стучит» сад — скоро ведь время уборки урожая?..»

Тяжело вздыхает Чепурной, спрашивает:

— Спишь, Докер?

Я еле ворочаю языком:

— А что?..

— Как ты думаешь: дадут послабление хлеборобу? Или покрепче закрутят гайки?..

Но у меня уже нет сил ответить ему, я засыпаю.

Сквозь сон я слышу голос Романтика — он отвечает за меня Чепурному:

— Хлебороб-то, видишь ли, бывает разный. Тебе — покрепче закрутят гайки. И законтрагаят. Знаешь, что такое контргайка?..

— Знаю, товарищ Рамантек!..

* * *

Среди ночи я просыпаюсь от диких криков. Сажусь в постели. В разноголосице мне слышится имя Шаркова.

Я сбрасываю простыню, в одних трусах бегу к дверям.

Я вижу экспедитора конторы, «профессора», у которого мы с Шарковым разгружали бочарную клепку: он отбивается от гневной толпы грузчиков Вени Косого. Они, видимо, только пришли с шабашки. Из наших там полураздетые Киселев и Сааков.

Я сразу же догадываюсь, что могло произойти, и, расталкивая стоящих впереди, прорываюсь к экспедитору, кричу ему:

— Что с Шарковым?

«Профессор» бросается ко мне с радостным воплем, как к родному:

— Вот этот! Вот этот! Он все может подтвердить!

— Да что случилось с Шарковым? — ору я на него.

И у экспедитора точно отнимается язык. Он всхлипывает и, размазывая слезы по щекам, начинает что-то бормотать в свое оправдание.

Я встречаюсь взглядом с Киселевым.

— Да убило «Казаискую сироту»! — кричит мие Киселев. — Нешто не поиятио?

— Убило, убило! — бормочет экспедитор, вытирая рукавом заслюиявленный рот. — Выдернул иеосторожно клепку, вся стена н повалилась иа иего.

— Совсем убило? — крнчу я на него с такой силой, что у меия перехватывает дыхание н звеиит в ушах.

— Совсем, совсем, — теперь уже громче всхлипывает экспедитор. — Доктора былн... Милиция...

Меня иачииает бить озиоб.

— Да что мы стоим как истуканы! — орет Киселев. — Айдате, ребята, в больиицу.

Все бросаются одеваться. Бегу и я.

— Что случилось там? Что за шум? — прнподнявшнсь в постели, спрашнвает Чепуриой.

— Да Шаркова убило! — ору я, дрожащими руками натягнвая на себя рубаху. — Неосторожно выдернул клепку, вся стена н повалилась...

— А! — произносит он и поворачивается на другой бок.

А в дверях стоит Кнселев, торопит:

— Давай, давай, ребята, потораплнвайся!

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Кто бы мог подумать, что «дело Глухонемого» так подннмет меня в глазах иашнх артельщиков. Уже давно уехал Иваи Степаиович, а мие и по сей деиь многие приветлнво улыбаются; за нсключеннем Агапова, конечио, — он всегда смотрит волком — да, может быть, еще Чепурного — этот, иаоборот, отводит глаза. Спрашивают, когда мы прнходим иа пристань, на какую я хотел бы стать работу: иа укладку, подъемку нлн на носку груза? Раиьше ие спрашнвали.

А в общежнтин — кто отсыплет мие горсть нзюма, кто сунет в тумбочку связку воблы, кто предложит дорогую папироску.

Хорошо людям делать добро. Людн зто ценят. И сами стараются делать добро. Добро — рождает добро.

Многие обращаются ко мие за помощью и советом. Даже нз других артелей — некоторых я вижу впервые.

И какие человеческие судьбы проходят передо миою! Кому бы только рассказать...

Все вечера у меия теперь заняты тем, что я пишу письма, заявлеиия и еще бог знает что. Даже в «Пролетарнй» некогда сбегать. А там, говорят, идет «Тарзаи» в шести сернях!..

Некоторые пытаются делать мне подаркн — иатурой и деиьгами. Смешио! Один из грузчиков артели ударииков Гаджнева приеес мие даже... горную косулю, от которой, конечио, я отказался: куда ее мне, где держать, чем кормить? А написал я ему всего-навсего заявлеиие в суд. Но по стечеиию каких-то обстоятельств зто заявление сделало свое дело в судебиом процессе, и грузчик получил крупную сумму: ему полагался отпуск за трехлетний срок работы у какого-то частника.

— Хорошая штука грамота, — говорит мне Сааков, садясь рядом и иаблюдая, как я вожу пером по бумаге.

А дело мое иесложиое: виимательио выслушиваю просителя, его подробный рассказ, и все это добросовестно перевожу иа листкн тетради. Правда, ниогда кое-что добавляю от себя, какие-ннбудь там жалостливые слова илн лирическое отступление. Все зто напомииает мие классные сочииеиия по литературе. Но здесь — интересиее писать.

— Это у меия иаследственное, — говорю я. — И дед у меия всю свою жизиь писал письма н всякие прошеиня. Ои был сельскнм писарем.

— Ты мие должеи помочь в одиом серьезном деле, — говорнт Угрюмый старик, переходя на шепот.

— Вот закончу иачатое, потом займусь твоим делом, — отвечаю я ему, увереиный, что он затевает что-то протнв дочери. Навериое, хочет напнсать в комсомольскую ячейку.

«Фигу тебе! Палец о палец ие ударю! Строчки ие напишу!»

Страиио, что, имея ключн от квартиры, Сааков не переезжает домой. Вндимо, он думает даже надолго обосиоваться в общежитии. Не зря же он иедавно прнвез из дому корзину всякой посуды н тюфяк. Не бежит лн он от одниочества?

Снова ои стал замкиутым Угрюмым старнком. Лицо у иего опять почернело, как головешка. Перестал бриться. Не повлнял ли на него отъезд Ивана Степаиовнча?.. Потом — ои лишился второго своего кореша, Шаркова, с которым любил поболтать вечерамн, посидеть иа бережку. Да, Шарков, Шарков! Трудио примириться с его нелепой смертью... Погиб из-за своей жадиостн, из-за денег, которые вряд лн уже могли что-нибудь нзменнть в его трудиой жизии. Неужелн нашлась бы другая девушка вместо Зарнфы, согласнлась бы выйти за него замуж?.. Как снльиа, оказывается, власть денег! Страниo, что я этого не чувствую, они мие безразличны, иужиы только для самых необходимых расходов. Говорят, это от молодости. Не думаю.

* * *

Сегодня вечером все обнтателн нашего общежития уходят иа коицерт в клуб Каспнйского пароходства. Пригласили иашн шефы, моряки.

Кроме меия, в бараке остаются Сааков, Чепуриой и Коиопатый. У каждого нз иих, видимо, есть какие-то дела.

Конопатый лежит на топчане и как будто бы пытается заснуть. Но он то и дело ворочается с боку на бок, и койка под ним все время скрипит. Это бесит Чепурного. Он сегодня чрезмерно возбужден. Минуты не может спокойно посидеть на одном месте. Все его раздражает.

Чепурной раз просит Конопатого не скрипеть койкой, второй, третий, а потом подходит к нему и дает тумака. Тот вскакивает и отвечает тем же. Завязывается драка. Оба валятся сперва на койку, потом — на пол.

Мы с Сааковым бросаемся их разнимать. Прибегает на крики и тетя Варвара. Но Чепурной дерется с такой злостью и отчаянием, что мы с трудом отрываем его от Конопатого.

Конопатый ложится обратно на свою койку — теперь, правда, он лежит спокойно. Чепурной, задыхаясь от бешенства, носится взад и вперед по бараку. Вот падает ведро, и он поддает его ногой. Ведро с грохотом катится меж топчанов.

Тетя Варвара замахивается на Чепурного тряпкой:

— Ты что, очумел, окаянный-то?

— А пошла ты, бабка... — отвечает ей Чепурной и, ударом ноги раскрыв дверь, выбегает на улицу.

Мы все с изумлением переглядываемся. От Чепурного матерной ругани никогда не слышали.

— Что — на самом деле он у вас очумел-то? — спрашивает тетя Варвара.

Конопатый приподнимается на своей койке.

— Он и на работе был сегодня такой. Со всеми ругался, ко всем лез в драку. Они-то, — он кивает на меня с Сааковым, — работали на палубе, а я с ним маялся на укладке в трюме. Думал — зашибет.

Тетя Варвара вздыхает:

— И все ведь от злости!.. Господи, что деется с людьми-то?..

И семенит к себе, перекладывая тряпки из руки в руку.

И на самом деле — что делается с Чепурным? И с Конопатым? Тоже какой-то очумелый сегодня. С утра все ходит-бродит вокруг меня. То ли собирается что-то сказать, то ли чем-то оглушить. Тоже ведь не зря не пошел в клуб к морякам. А готовился за неделю! . . В клубе должно быть весело: большой концерт настоящих артистов, потом — самодеятельность, потом — новая кинокартина.

Что ему нужно, Конопатому? Но меня от размышлений отрывает Угрюмый старик:

— Пока тихо, не займешься, Докер, моим делом?

Я с тоской смотрю на него.

— А я хотел в тишине написать письмо, потому не пошел в клуб. Не вышло! . . — Смеюсь: — Ладно, отец, садись рядом, рассказывай.

Он улыбается, говорит:

— Я знал это. Думаю: сам тоже не пойду, посидим вдвоем, чайку попьем, ты и поможешь мне. До концертов ли сейчас?

Он приносит кипу тетрадей, перевязанную бечевкой. Неторопливо развязывает узелок, раскладывает тетрадки на столе. Они у него все пронумерованы.

— У меня дело государственное, и я хочу, чтобы ты проникся к нему... уважением и серьезностью, что ли? — говорит Угрюмый, садясь напротив меня за стол.

Я смотрю с любопытством: о чем-то мудреном говорит он. Оказывается, совсем не о дочери у него забота.

— Мне просто страшно приниматься за такое «дело», — говорю я. — Я же не народный комиссар.

— Это ничего. Комиссаром ты еще будешь! А страшиться тебе тоже нечего. Парень ты грамотный. Потом — складно пишешь. Вон как разжалобил Калинина!.. А ведь ему пишут тысячи.

— Так о чем ты просишь, отец?

— Я не прошу. Я хочу быть полезным человеком. Не только мешки таскать!

В глазах его я вижу отчаянную решительность!

— Таская мешки, ты уже делаешь полезное дело, — говорю я.

— Это каждый дурак может, — перебивает он меня. — Я думаю о большой пользе!

— А в чем? — Я заинтригован!

— В советах. Вот прочти тут! — Угрюмый старик берет тетрадку и, послюнявив палец, перелистывает страницу.

Разобраться в его каракулях, конечно, не так легко.

— А может быть, отец, ты про все это расскажешь своими словами? Я и так пойму. — Я возвращаю ему тетрадку.

— Тогда зачем я столько вечеров трудился? Такой молодой, а уже нетерпеливый. Эх, молодежь, молодежь! Плохо понимаете стариков. Даже родная дочь не понимает!.. Ну ладно, слушай. — Он отодвигает свои тетрадки в сторону и внимательно рассматривает свои руки.

Я облокачиваюсь на стол, весь превратившись в слух. Конопатого не слышно. То ли заснул, то ли, затаив дыхание, прислушивается к нашему разговору. Койки его я не вижу — она за моей спиной.

Сааков собирается с мыслями, ворочая на столе свои руки. Они у него напоминают корни дерева. Жилистые, узловатые, с вздувшимися венами.

— У меня вон какое дело, Докер. В стране у нас завелось много служащих. Все ходят с портфелями! Человек с портфелем съедает половину государственных денег, а польза?.. Ведь немного пользы от бумаги, не правда ли?.. Потом, как бы плохо служащий ни рабо-

тал, ему все равио ндет жалованье. Зачем ему думать, зачем искать, зачем волноваться?

— Что же ты предлагаешь, отец, — иетерпеливо спрашиваю я. — Работать ему бесплатно?

— Нет, не бесплатио. Во всяком деле должиа быть заинтересованность. Всюду надо ввести сдельиую оплату. За примером далеко ходить не иадо. Вот мы работаем, и сдельщикн работают. Кто больше делает? Сдельщнки! В три-четыре раза! А почему? А потому, что за это оин больше н получают. Понимаешь, о чем я говорю?.. Ну, а жалованье — совсем уж убивает торговлю!

Где я слышал про все это? Ну да, разговоры на эту тему часто у иас во дворе любил вести наш сосед, кабатчик Нерсес Сумбатович!

Угрюмый продолжает развивать свою мысль:

— Фабрнкн, заводы, промыслы, шахты, конечно, должны принадлежать государству. Тут ннкто не может спорнть! Я н раньше, еще при царе, был протнв частной собственности. Крупной, конечно. Большая оптовая торговля тоже должна принадлежать государству. Но всякую там мелочь надо оставить частиику. Иначе некому будет думать о людях. Я говорю о кебабных, пивных, часовщнках, лудильщиках. Государству заннматься мелочью некогда и ие очень ннтересно: маленькне доходы. Государство занято большимн деламн. Пятилетку выполняет! Стронт Днепрострой! Строит тракторный завод! Все это хорошо. А кто будет думать о человеке?.. Вот тебе, скажем, иадо подбить подметку. Оторвалась подметка!.. Куда ты пойдешь? В артельиую мастерскую?.. Но там эту пустячную работу тебе сделают через три дия. А частный сапожник подметку прибьет при тебе же!.. Тебе хорошо, ему хорошо. Или, скажем, ты захотел пнва с горохом. В государственной пивной продают пнво, но нет гороха. А почему — иет? А потому, что заведующему неинтересио возиться с горохом. Для него это лишияя обуза. А частннк не леиился. Он думал о людях... Но ие стало частиых пнвных — не стало и гороха. Понимаешь, о чем я говорю?.. Ты лншился гороха, заботы о себе...

— Думаешь, отец, у частника такая уж трогательная забота о людях?.. Я вот некоторое время работал в «Поплавке» — была такая пивиая в доме, где я жил. Хозяин мой, Нерсес Сумбатович, тоже «заботился»: завел в пивной заедки — горох, воблу, черные сухарики. А для чего? Из любви к посетителям?.. Ему было плевать на иих, он даже пиво разбавлял водой! Заедки ему нужны были, чтобы пригвоздить, как он говорил, посетителя к столику. Чем больше посетитель съест гороху илн сухариков, тем больше выпьет пива. А чем больше выпьет, тем больше у хозяина будет дохода. А ты говоришь о «заботе»!..

— Ну, может быть, пример с горохом н не совсем удачный. Но одио я знаю: только в союзе государствеиного и частиого капитала, — зиаешь как Серп и Молот? — страна может идти вперед, строить иовые заводы, развивать свою торговлю.

— Так это же у тебя ие просто советы, а целая политическая программа, отец, — говорю я.

— Почему — программа?

— Да потому, что все, что ты говоришь, — основа иашего спора со всякими уклонистами. Разве ие читаешь в газетах? Мы, иапример, это иедавио проходилн в школе на уроке обществоведеиия.

— А ие кажется ли тебе, Докер, что мы раньше времеии свертываем иэп? Леиин, говорят, рассчитывал его на многие годы?

Что я зиаю иа этот счет, что ему ответить?

— Я, коиечио, могу оформить твои мыслн в виде письма, но согласнться с ннмн?..

— Не можешь?.. Боншься?..

— Нет, ие боюсь, но не хочу.

— А почему?

— А потому, что все частники — жулнкн.

— Это тебе, иаверное, моя Зарочка сказала? А работинкн кооперацнн? Слышал про нх судебные процессы?

— Слышал.

— Ну и что скажешь?

— Конечио, н там есть жулики. Но это потому, что в кооперации пока работает миого бывших частников. Вот вырастут у государства свои кадры торговых работииков, тогда они всех и заменят. Тогда ие будет жуликов.

— И ты в это верншь?

— Верю.

— Ты во все веришь!.. Ох, Гарегнн, тяжело тебе будет жить на свете!.. Когда будешь в моем возрасте, вспомиишь иаш сегодияшний разговор, скажешь: неглупые вещи говорил Сааков!

— Да что я вам, в писарн, что ли, наиялся?.. Пошли вы все... ко всем чертям! — вдруг взрываюсь я.

Угрюмый старик с нзумленнем смотрит иа меия. Говорит наставительно:

— Вспомни, когда тебя принимали иа работу, я тебе помогал. Я думал — ты взрослый человек. А ты мальчншка! — И он начинает по иомерам складывать свои тетрадки.

Я вскакиваю со скамейки, пытаюсь в бешеистве иаговорить ему кучу гадостей.

Но ои опережает меия:

— Вспоминшь, вспомиишь иаш разговор!..

Я свнщу:

— Ну, когда я буду в твоем возрасте, пожилым человеком, мие будет плевать — кто заботится о мелочах, кто стоит за прилавком.

— Разве сорок семь лет — уже пожилой, старый человек? Вндишь — крепко еще стою на иогах.

А я-то думал, что ему около шестидесяти!

Никогда толком не могу разобраться в возрасте людей. Всегда ошибаюсь.

Махнув рукой на Саакова, я вылетаю из барака, хлопнув дверью.

«К черту! Никому ни одной строчки!» Сунув руки в карманы, я иду к берегу.

Мне издалека подмигивает маяк на острове Нарген. Прохладой и порывами ветра встречает море. Видимо, норд уже кружит где-то посреди Каспия.

Я сажусь у самого края берега. Смотрю на воду. Она густая, черная, тяжело переливается при свете пристанских огней рыбного холодильника. Интересно бы знать, какой толщины слой мазута у берега? То-то без всякой охоты подходят сюда грузовые и пассажирские пароходы. Горе для боцманов! Горе и для матросов! Им долго потом приходится подкрашивать белилами корпус парохода.

Удивительная способность у Каспия: своей воркотней у прибрежных камней успокаивать человека.

Я пытаюсь разобраться в происшедшем. Отчего я взорвался в разговоре с Угрюмым стариком? Откуда у меня эта раздражительность?

Смутно догадываюсь: оттого, что не сумел как следует ему ответить. От неверия старика в нашу жизнь. От желания повернуть ее назад, к старому. От неверия в людей. Нет, не зря его Зара воюет с ним, не зря.

Позади я слышу вкрадчивые шаги. Оборачиваюсь — Конопатый!.. Вбираю голову в плечи. Его мрачный вид всегда внушает мне страх, хотя у меня с ним никогда не было столкновений, и бояться как будто бы нечего.

Садится рядом. Не сбросит ли он меня в воду? Тут кричи не кричи, никто не прибежит на помощь.

Я пытаюсь со страху завязать с ним разговор.

— Что — не спится тебе? — спрашиваю.

Он угрюмо молчит.

— Ты что-то, кажется, хотел у меня спросить?

Молчит.

— Не болен ли ты? — через некоторое время спрашиваю я, уже уверенный, что сейчас он или оглушит меня чем-нибудь тяжелым, или сбросит в эту покрытую толстым слоем мазута воду.

Вода зловеще переливается внизу. Волны уже с силой бьют о берег.

Конопатый продолжает угрюмо молчать, вперив взор в далекие огоньки на море.

— Ты что же — решил заменить Глухонемого? — уже в отчаянии спрашиваю я.

— А я ведь, Докер, нашел твои сапоги, — вдруг, шмыгая носом, все глядя на далекие огоньки, произносит он.

Не сошел ли он с ума?

— Какие сапоги?

— Твои.

— Ах да, сапоги, — в замешательстве говорю я. — Ты о чьих же сапогах?

— Говорю ведь — о твоих! — Он сильнее шмыгает носом.

— Не может быть! Где же ты их мог найти?

— А я их украл у тебя. — Шмыг, шмыг носом. — Думал — не выдержу эту проклятую работу, подамся на Волгу. — Шмыг, шмыг носом. — Денег не было на дорогу. — Тут он вытирает ладонью глаза. — Но привык, как видишь, работаю не хуже других. Да и денег поднакопил немного.

Так вот почему он целый день преследовал меня! Вот чудак — все не решался сказать!

Меня осеняет мысль: не из-за украденных ли сапог тогда в споре с Романтиком он поперхнулся на горьковских словах: «Человек — это звучит гордо»?

— А где же ты спрятал сапоги? Мы перерыли весь барак, не нашли.

— У знакомого, в Черном городе. Одним словом... — Он снова шмыгает носом.

Хоть бы перестал!

— Да ладно уж, — говорю я Конопатому.

— Одним словом, если спросят, скажи, подкинули тебе...

— Ладно, — с облегчением говорю я. — Я уж давно забыл про них.

Подумать только! Сколько из-за этих сапог было шуму и гаму. И так просто нашлись!

— Совесть заговорила? — сквозь шум набежавшей волны кричу я ему.

— Совесть.

— Ночи, наверное, не спал?

— Не спал. — Достает папироску, протягивает мне, берет себе, чиркает спичку. — Как же это воры живут воровством?

— А они, наверное, не переживают. Вроде как работа. Как мы таскаем всякий груз.

Но тут очередная волна с такой силой накатывается на прибрежные камни, что мы еле успеваем вскочить на ноги и убежать от брызг.

Походив по берегу, мы с Конопатым возвращаемся в общежитие. Там по-прежнему тихо и пусто. Чепурной спит, накрывшись с головой плащом. Сааков сидит у окна и чаевничает. У него свой чайничек для заварки и чайничек для кипятка, своя сахарница с мелко наколотым сахаром. Рядом лежат щипчики. Как бы мелко ни был наколот сахар, перед чаепитием он все равно крошит его еще на более мелкие кусочки. Это ему доставляет большое удовольствие.

Пьет старик из блюдца, мелкими глотками, аппетитно чмокая, отвернувшись от всех на свете. Спина у него в эти минуты выражает полную независимость и покой. Старик глух и нем.

А за окном вовсю уже бушует норд, швыряя в стекла горсти крупного песка, и сиротли-

во мечется на макушке столба однокая угольная лампочка. Тоска.

Конопатый вытаскивает из-под своего топчана большой сверток, смотрит по сторонам, на цыпочках подходит к моему топчану, сует под него.

Посмотрев друг на друга, мы почему-то смеемся. Но тихо, прикрыв ладонью рот. Потом садимся за стол.

Но Сааков не оборачивается. Я думаю, что он не обернулся бы даже в том случае, если бы общежитие начало гореть. Чаепитие для него — священнодействие.

Раздается тихий стук в крайнее окно.

Конопатый вздрагивает, потом медленно оборачивается. Я вижу ужас в его глазах, как когда-то у Глухонемого старика.

Я подхожу к окну. Приоткрываю одну створку. Вижу всадника. Узнаю его. Это — вожак, тот самый Павло. Он весь в пыли. И лошадь у него белая-белая. Вспоминаю: и в тот раз был ветер, порывы норда гнали по улицам тучи пыли.

— Слухай, хлопец, — говорит всадник. — Выдь на минуту.

Все как в тот раз!

Я прохожу мимо стола, встречаюсь взглядом с Конопатым. Сидит он, точно парализованный.

Я выхожу во двор. Вожак шагом важно подъезжает ко мне. У ворот, освещенные слабым светом покачивающегося фонаря, виднеются еще человек двадцать всадников, за ними — табун лошадей. На некоторых сидят женщины, лица их обвязаны платками.

— Це що, барак грузчиков? — спрашивает вожак.

— Это, — отвечаю я, улыбаясь: ведь бывал уже здесь однажды.

— Буде он неладен! Снова весь вечир шукав по городу. И що у вас за проклятая вулица?.. — Он вздыхает, треплет коня по гриве. — Може, знаешь грузчика — Чепурного?

— Знаю. Спит он сейчас.

— Надо поднять его, хлопец. Тильки щоб других не разбудить. — Он прикладывает палец к губам.

— Хорошо, — говорю я. — Сказать ему: Павло пытае?..

Он всплескивает руками:

— Вот чертеняка!.. Отке́да ты меня знаешь?

— А вы же меня и в тот раз спрашивали про Чепурного.

Я вхожу в барак. Еле касаюсь рукой плеча Чепурного. Он вскакивает, точно от прикосновения электрического провода. Глаза злые, настороженные.

Не ждет ли он какого-нибудь подвоха или неприятного известия?

— Там друг твой Павло дожидается. С ним еще человек двадцать, — говорю я.

— А, что?.. Павло, говоришь?.. Сейчас, сейчас!.. — Тут он весь как-то смягчается, суетливо начинает шарить под топчаном ботинки, а найдя их, надевает и торопливо зашнуровывает. Потом вытаскивает вещевой мешок, бросает в него полотенце и жестяную кружку, закидывает ремень на плечо. Берет в руки плащ.

Он подходит к столу. Перед нами стоит весь собранный, с поджатыми губами, с неукротимой злостью в глазах... прежний Чепурной!

Коротким, резким движением он протягивает Конопатому руку — впервые я как-то замечаю, что она удивительно узкая, совсем не похожа на рабочие руки остальных грузчиков.

Конопатый, от неожиданности, что ли, вскакивает и в замешательстве не знает, как ему поступить: пожать руку или горделиво отвернуться? Ведь совсем ни за что Чепурной обидел его час назад.

— Давай, давай! — повелительно говорит Чепурной, приставив руку к его животу, как нож.

Конопатый осторожно берется за нее обеими руками и, увидев, что ничего страшного не случилось, расплывается в угодливой улыбке.

— Ну-ну! — с выражением брезгливости на лице покрикивает на него Чепурной и, вырвав руку, протягивает мне. — Бывайте, хлопцы. Не поминайте лихом. — Рука у него сухая, жесткая, сильная; она точно клещами сжимает мою ладонь. — Кто спросит меня — скажите: уехал... далеко... искать счастья...

— А расчет почему не взял? — участливо спрашивает Конопатый. — Денежки все-таки.

Чепурной машет рукой, отведя глаза в сторону.

— Ни к чему мне эти грошн. — Напялив резким движением кепку на голову, он прощается с Сааковым и быстрым шагом уходит из барака.

Мы с Конопатым бросаемся к окну. Вожак — на этот раз молча, без всяких приветствий — подводит Чепурному коня, тот кидает плащ в седло, одним махом садится и сразу же выезжает со двора. Остальные — молча за ним. У баб позади седел болтаются переметные сумы и другая поклажа.

На тихой пустынной улице еще долго слышится дробное цоканье копыт по булыжнику, пока где-то поблизости не проносится с грохотом и шипеньем маневровый паровоз.

Куда поехал Чепурной, какое счастье искать?

ГЛАВА ВТОРАЯ

Хотя прошло уже много времени, но мне все-таки не удалось уйти от магарыча, «заначить» его. Старшой напомнил. Да и с Агаповым надо рассчитаться. Что же тут поделаешь — закон портовой жизни: устроили тебя на работу — отдай одну из получек на пропой.

А сколько нужиых вещей можно было бы приобрести иа эти деньги!..

Мы сидим за пакгаузом 20-й пристани у самого берега моря, за расстеленной газетой, щедро уставлеииой миою бутылками и закуской. Перед каждым стоит рюмка для водки, граненый стакан для лимонада и виноградного вииа.

Агапов и старшой переглядываются и, вдруг расхохотавшись, хватают свои рюмки и швыряют их в море.

Я так и ахаю! Ведь взял я их под честное слово у тети Варвары.

Вслед летит и моя рюмка!..

Старшой берет бутылку и разливает водку в стаканы. Один ставят передо мной:

— Работать ты как будто бы уже научился, Гарегии. Неплохой грузчик.

— Докер, — говорю я.

— Теперь пора научиться пить, как грузчик!

— Докеры — народ революционный. Они меньше всего думают о водке.

— Ну, может быть, о водке не думают, а всякие там соду-виски хлещут не меньше нас. Твое здоровье!

— А, давай! — говорю я с отчаянной решимостью. Со всего маху чокаюсь стаканом и отпиваю два глотка.

— Для иачала — неплохо. В другой раз отхватишь сразу полстакаиа.

Недалеко от нас, иа лесной пристани, разгружают шалаиду с досками; через дорогу, на стадиоие, играют в футбол, и то и дело до нас доносятся вопли болельщиков-бездельииков.

— Теперь о куреиии, — говорит старшой, дожевывая помидориу. — Какой из тебя, к черту, грузчик или докер, Гарегии, когда ты куришь, как баба? Смотри! — Тут ои попыхивает папиросой и двумя сильными струями выпускает дым из иоздрей. — Давай теперь ты.

Я делаю затяжку, пробую глотнуть дым, но он почему-то не глотается. Я делаю вторую затяжку. Дым глотается, ио почему-то не лезет из ноздрей. Я делаю третью затяжку. И тут, поперхиувшись дымом, начинаю кашлять с такой силой, что кажется: вот-вот из меня выплеснутся все виутренности.

— Глотни водки, — советует Агапов.

Я делаю глоток, но кашель ничуть не утихает.

— Затянись еще разок! — говорит старшой. — Клин клином вышибают.

Я затягиваюсь, и снова глухой, надрывный кашель душит меия.

— Сделай два глотка водки, — советует Агапов.

Я делаю два глотка, ио курить отказываюсь.

— Хорошо, оставим курение до другого раза, — примирительио соглашается старшой. — Научись сегодня хотя бы пить. А пить иадо вот так, без передыху, — он запрокидывает голову и льет в свою широкую глотку полстакана водки. — Давай теперь ты, — и тянется за соленым огурцом.

Я следую его примеру, сразу же поперхнувшись водкой.

А им смешио: вот дурачок, не может ни курить, ни пить!

Вскоре я уже плохо соображаю, что происходит вокруг меня. Каким образом за нашим «столом» вдруг оказывается Романтик — остается для меня тайной. Собирались-то иа магарыч скрытно, чтоб не было посторонних, старшой просил. У меия даже закрадывается подозреиие, что Романтик не случайно здесь: не «шефствует» ли он тайно надо мной?.. «Спаситель мой! Ведь иадо же — подхватил тогда комель у меия с плеча в тот момеит, когда бревно должно было свалиться на землю! Покалечило бы и меня, и Агапова на всю жизнь. Следил!..»

Я рад, конечно, Романтику. Он самый достойный из сидящих здесь. К тому же — человек с загадкой. Не только для меия, но и для миогих других. Удивляет в нем целеустремленность, умение сосредоточиться, жить обособлеино, жадно читать и учиться.

Старшой и Агапов, забыв про меня, усиленио угощают Романтика, то и дело наполняют его стакан водкой, ои хорошо пьет, но ие пьяиеет, хотя вскоре становится словоохотливым. Но и этого достаточио старшому, чтобы «подсечь» его, как рыбку.

— Может быть, все же расскажешь — от кого бежал? Какую тайну скрываешь? — спрашивает он.

Ромаитик смеется:

— Да никакой тайиы! Бежал от жены, от тещи, от тестя. От всех на свете!

— Ай да молодец! Мие бы вот так!.. Как думаешь дальше жить?

— Да вот готовлюсь на рабфак. Хочу потом учиться на инженера-механика. Ведь я мастеровой человек. С пятнадцати лет на разных заводах работал.

— А она что, не дает учиться, родия-то жены?

— Жена-то ревнивица у меня — вот в чем беда! Миого раз грозилась убить.

— Парень ты видный, бабы таких любят, — тянет старшой.

— Бабы любят всяких, и замухрышек, — смеется Агапов.

— А потом, видишь ли, старшой, у родни моей жены имеется небольшое, вроде подпольного, производство. Конфеты там делают всякие, «петушков» и «уточек», развозят по станицам. Одиим словом — небольшая фабричка! Ну и меня давно пытаются сделать компаньоном. Так бы оно для иих было безопасней. А я им ие даюсь! Рабочий я класс или ие рабочий? Рабочий! Да и жену я было отвадил от них,

А она у меня форснстая, на тряпки падкая, на все нужны большне деньгн, да где мне их взять?.. Год терпела, а потом все же сбежала к своим. — Он машет рукой. — Ну н черт с ней!

— Не пойму я: кто же от кого бежал — ты от нее или она от тебя? — Агапов приподнимается, допивает свою водку, тоже хрустит огурцом.

— Все же я! — ликующе отвечает Романтик. — Она-то, дура, убежала временно. Нет-нет да н вернется домой, ночевать останется. Нанесет всяких конфет. А я убежал — нет, не убежал, а ушел! — совсем.

— Значит, от сладкого ушел? — Старшой качает головой, хрустнт огурцом. Хмыкает: — И такое, оказывается, бывает в жизни!.. Ай да Романтик! Не зря, выходит, у тебя кличка такая? Ума не приложу, кто и дал ее тебе...

— А помнишь — работал у нас в артели студент-технолог, на одежку деньги копил?

— Глиномедов?.. Помню, помню... Да-а-а, — вздыхает он, — ты человек с мечтою, книжки почитываешь, к чему-то тянешься. . .

— Думаю — не в книжках дело, старшой, другой смысл вкладывал студент в это слово... Романтика — это душа человека... Умение во всем видеть большой смысл... Даже в нашей нелегкой работе... А насчет сладкого — не знаю, что н сказать... Никогда не любил сладкого. Чай-то пью, как все, с сахаром, а чтоб есть там барбарисы и конфеты — никогда. Правда, набьешь ими карманы, детишкам раздать. Меня все пацаны на улице любили. И я их любил!.. Жалко вот, у нас с женой не было детей, — печально произносит он.

— А жена-то у тебя — ничего? — совсем уж некстати спрашивает старшой и подмигивает ему. — Ревнивицы — они бывают смазливенькие, знают себе цену. — Он хихикает и тычет Романтика кулаком в бок.

— Ничего себе, можно сказать, даже красивая. Но уж очень ревнивая! Если какая-нибудь там бабенка ненароком заглядится на меня — вся позеленеет, готова той выцарапать глаза. Да и меня готова убить. Три дня потом будет бить посуду.

— Адрес-то хоть бакинский ей послал?

— Нет. Сразу прилетела бы. Скандалов тогда не обобраться. А так одним махом разрубил этот узел! — Вздыхает. — Надо начинать новую жизнь. С учения, с рабфака. Все сейчас учатся! Стране нужно много специалистов.

— Да, — вздыхает старшой, вдруг помрачнев. — Это ты молодец, правильно поступил. Хватило сил!.. У меня ведь дома тоже стерва хорошая. Отрастила себе задницу пудов на десять и знать ничего не хочет на свете. Подавай ей хорошую жратву, а на остальное ей плевать. А ведь были н у меня всякие порывы в жизни...

Агапов наливает всем водки, поднимает стакан:

— А ну, ко всем чертям бабское племя. За свободу!

Стаканы наши, сойдясь, весело звенят, и среди них — мой стакан. Но когда я его подношу ко рту, мне становится нехорошо. Закрыв глаза, я делаю вид, что пью, но сам не делаю н глоточка. От одного запаха водки у меня пробегает судорога по телу.

— Пей, пей! — кричит Агапов, но Романтик молча отбирает у меня стакан.

— На первый раз хватит, — говорит он.

— Поешь как следует! — Старшой сует мне в руку бутерброд. Но я кладу его в сторонку.

У меня сильно кружится голова. Мне н глаз-то не открыть. Стиснув зубы, я пытаюсь остановить кружение, на какое-то время мне это удается, но я почему-то глохну. Потом лишь до меня доносится:

— Это ты правильно поступил, — говорит старшой Романтику. — Мне бы тоже с начала начать свою жизнь, да как будто бы уже поздновато. Тебе-то, наверное, не больше тридцати?

— Все тридцать два! — Романтик толкает меня в плечо: — Если тебя мутит — пойди поближе к воде. — И тут он вовремя хватает меня под руку.

* * *

Когда сознание приходит ко мне, я слышу голос Агапова:

— Да оставим его на берегу! Ничего с ним не случится. Выспится н пойдет себе в общежитие.

— Нет, так не положено в хорошей компании, — отвечает ему Романтик. — Снесем-ка его в барак.

— В такую-то даль? — Агапов свистит.

— Вот что, ребята, — говорит старшой. — Тут за стадионом, недалеко, живет у меня знакомая, Елизавета. Стащим его туда, у нее и выспится. В таком виде нам в бараке появляться нехорошо. Потом — у Лизки еще посидим маленько. — Тут к чему-то он визжит, как баба. — В день получки у нее собирается много народу. И все больше нашей портовой братвы.

Подхватив под руки, они тащат меня. Коленки подгибаются, я то и дело приседаю. Или же ноги у меня вдруг деревенеют, и я иду как на протезах. А бедная моя голова! Она напоминает, наверное, кочан капусты: падает то на левое, то на правое плечо, и мне никак не удержать ее в нормальном состоянии.

Я все слышу, все понимаю, хочу вмешаться в разговор, но язык не слушается меня. Ах, если бы я мог Романтику и старшому внятно сказать, что я и один прекрасно дойду до места, пусть только отпустят мои руки!.. Но ничего иного, кроме невнятных звуков, напоминающих жужжание пчелы, мне не произнести. Смешно!

Агапов вскоре отваливается от иас, и мы теперь втроем плетемся к Елизавете.

Ромаитик спрашивает:

— А эта твоя бабешка... как ее... ие выгонит иас?

— Елизавета?.. Нет, баба она фартовая. — Старшой к чему-то сиова визжит. — Сейчас у иее дым коромыслом.

Дальше я уже иичего ие слышу. И иадолго.

* * *

Когда я сиова прихожу в себя и открываю глаза, то вижу иад собою вечериее небо. Где-то рядом играют иа гармошке, раздаются пьяиые голоса.

Я еле-еле приподиимаю голову. Оиа необыкновеиио тяжелая. Сильио болит в затылке. Не ударился ли я? Не раиа ли там? Я провожу рукой по затылку. Нет иикакой раны.

Я оглядываюсь. Лежу иа широкой деревяииой тахте, в углу громадиого двора. Окаймляет двор одноэтажиый дом со стекляиной галереей вдоль бесчислениых квартир.

В иогах у меия сидят трое ребятишек, один другого меньше: лет десяти, восьми и шести. Они напряженно смотрят на меия.

Я прикладываю руку к затылку: кажется, вот-вот голова треснет от боли. И во рту очеиь нехорошо.

Я сажусь, опустив на землю иоги. «Где это я, и что со мною?» И тут вспоминаю про Елизавету.

— Ну как — выспался? — спрашивает старший из мальчиков: белобрысеиький, с костлявыми вздериутыми плечами.

— В-в-в-выспался, — мычу я, опустив глаза, и сиова прикладываю руку к затылку. — Спал — долго?

— Долго, — охотно отвечает мне второй мальчик: чериеиький, круглолицый, со смеющимися глазками.

Я смотрю на самого младшего — рыжеватеиького, с ядовитой улыбкой на тоиких губах. Судя по всему, меия сюда привели в неприглядиом виде.

— С-с-с-сильио был пьяи? — спрашиваю я, глядя на иего.

Он кривит губы:

— Как покойник.

— Думали, что ты умрешь, — тотчас же бросается выручать того Чериеиький. Потом дает ему щелчка по лбу. — Глупенький!

— У иас всегда много пьют, ио такого пьяного, как ты, мы никогда не видели, — с удивлеиием говорит старший из мальчиков. — Что же ты пил?

— В-в-в-водку.

— На эти деиьги, правда, лучше купить конфеты? — Глупеиький, потирая себе лоб, толкает Черненького в плечо.

— Или ириски. Или халву, — отвечает ему Чериеиький.

— Раз ты не умеешь пить, зачем же пьешь? — спрашивает старший с укоризиой. — У нас вон пьют из трехлитровых «гусыиь», и то иичего. Пьянеют, но ие валятся.

Да, ответить ему не так просто. Я провожу языком по иссохшим губам.

— Пить хочешь? Принести воды? — с готовиостью спрашивает Черненький и, не дождавшись ответа, бежит в дом, — оттуда несутся громкие голоса и звуки гармошки.

Я мутными глазами, точио через закопченное стекло, смотрю на мальчишек и спрашиваю:

— М-м-м-мнюго шалите?.. Часто деретесь?..

— Нет, — отвечает старший. — Зачем иам драться?

— Мы же братики, — говорит Глупенький.

Я подозрительно смотрю иа него.

— Б-б-б-братики?.. Какие же б-б-б-братики, когда вы все разные?

— А потому разиые, что папки у нас разные, — отвечает Глупеиький.

— Как так — р-р-р-разиые?

— А вот так — р-р-разные, — передразнивает меия старший и тычет Глупенького в грудь. — У Карлуши папа иемец: он работает тут недалеко, на мельиице. Наша мама прожила с ним только один год. А у Фаиза — отец азербайджанец. Мама с иим тоже не поладила, и он ее оставил.

— А у тебя?

— А у меня отец был русский. Его убили на границе, он был пограничником. Мать меня иазвала его именем — Евгеиий, Жеия.

Расплескивая воду, к нам бежит Фаиз. Я беру у иего ковш и жадно пью. Руки у меня дрожат, а кончик носа плещется в воде.

— Сейчас сюда идет мама, — с радостью говорит Фаиз. Видно, что он нежно любит свою маму: глазки у него так и светятся.

Я перевожу дыхаиие, к чему-то заговорщически подмигиваю ему и снова жадно пью.

Елизавета появляется во дворе вместе с Романтиком. Ои плетется за нею, сильно покачиваясь. Пытается схватить ее за косу. А оиа хохочет и вприпрыжку убегает от него.

Я скашиваю левый глаз. Это полиогрудая красивая женщина. Сарафаи в огиеиных цветах. Коса у иее сейчас перекииута на грудь, и она крепко ее держит обеими руками.

Я кладу ковш иа тахту, одергиваю рубаху.

— Ну, проснулся, пьяиенький? — певучим говорком спрашивает оиа, подойдя ко мие. Глаза у нее голубые, лукавые и хмельные. — Экий глупый! От двух рюмок опьянел! — Оиа берет мою голову в свои ласковые ладони, приближает к своему лицу, смотрит долгим гипнотизирующим взглядом в мои глаза и в порыве нежности тычет меня иосом в открытый

разрез сарафана. От ее вольных грудей щемяще пахнет свежеиспеченным хлебом. — Ну, пошли, пошли, Гарегин! Опохмелишься! — Она хватает меня под руку, и я встаю на свои неверные, ватные ноги. — Николай, что стоишь как пень? Бери его под правую руку! — к моему удивлению, прикрикивает она на Романтика.

А у того безумное, глупое, пьяное лицо. Ничего он уже не соображает. Как я несколько часов тому назад.

Вместо Романтика справа меня под руку подхватывает Женя. Сзади поддерживают Карлуша и Фаиз. Так все вместе мы плетемся в дом.

Соседи — кто с сожалением, кто ненавидяще — смотрят на нас из окон галереи.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Кто мог знать, что судьба еще раз сведет меня с Маэстро, к тому же в районе порта? Что он здесь делает? Не меня ли ищет?

Оказывается — да. Вот уже который день он с утра пропадает на пристанях, наблюдая за погрузкой и разгрузкой пароходов. Работа эта ему очень нравится.

— Может, замолвишь за меня словечко, Гарегин?

— Перед кем?

— И перед мамой, и перед вашим Гусейном-заде. Пошли ко мне?

Да, сегодня мне не отвертеться. Придется отобедать, познакомиться с его матерью-феноменом. До четырех, до начала работы в вечернюю смену, у меня, правда, целых два часа.

— Хорошо, пошли, — говорю я.

...Раскрасневшаяся у плиты или у керосинки, мать Алика сразу же сажает нас за стол, уставленный таким множеством всяких вкусных закусок, что у меня в глазах начинает рябить. Первым делом она наливает нам по стакану красного виноградного вина.

— Пейте, это хорошее крестьянское вино, — говорит она. — Полезно для здоровья, вызывает хороший аппетит.

— Ну, кажется, отсутствием аппетита я не страдаю. — Алик поднимает стакан. — А ты?

— И я тоже, — говорю я, чокнувшись с ним, и отпиваю сразу полстакана. Вино приятное, вроде лимонада, но с небольшой горчинкой.

Сидя на краешке стула, мать обращается к Алику:

— Товарищ твой учится?

— Нет, — отвечаю я за него. — Работаю.

Сжав губы, она многозначительно качает головой.

— Он, наверное, сирота? — Опять она обращается к нему.

— Да, — снова отвечаю я за него.

Качая головой, она уходит в кухню и вскоре возвращается со сковородой, полной небольших котлет, называемых тева-кебабы. Она кладет сыну четыре котлеты, мне — две, но Алик ловко меняет наши тарелки, сославшись на то, что котлеты он не очень-то любит.

Мамаша его вновь бежит на кухню. На этот раз она приносит кастрюлю с голубцами, кладет нам по три штуки в тарелки.

— Алик, ешь голубцы!.. Может быть, тебе еще положить?.. — И она кидает ему в тарелку еще один голубец. — Смотри, какая красивая редиска, — и она толкает к нему тарелку с редиской. — Может быть, ты хочешь зелени: кинзу? тархун? мяту?.. А то я сделаю тебе еще яичницу?.. Почему ты не берешь маринованный перчик? — И она толкает к нему банку с перцем. — Смотри, какой красивенький помидорчик! Где ты еще найдешь такой помидорчик? А вот возьми огурчик! Ешь котлеты! Я сейчас принесу тебе и рыбки! А может быть, тебе добавить еще голубцов?.. Возьми сыру! Пейте вино!..

Не зная, куда деться со стыда, Алик нехотя ковыряется вилкой в голубцах, отделяя капусту от фарша, еле-еле двигая челюстями.

Я же уплетаю за обе щеки. Давно я не бывал за таким богатым столом, не ел такого вкусного обеда.

Заморившись, мать Алика садится на краешек стула, тиская на коленях кухонную тряпку.

— Можешь ты устроить нашего Алика на работу? — На этот раз она обращается непосредственно ко мне.

— А почему бы нет, — отвечаю я. — Хоть сегодня! Мы как раз работаем в вечернюю смену.

Алик наливает мне вино, и я делаю глоток.

— А чем ты занимаешься?.. Какая у тебя работа?.. — Она нервно перекладывает тряпку с колена на колено.

— Да самая простая, — отвечаю я. Рисуя ногтем узоры на скатерти, начинаю неторопливо рассказывать: — Ну вот, например, в порт приходит пароход: из Красноводска, Петровска, Астрахани, из персидских портов...

— Ну и что же дальше?

— Кто-то должен грузить и разгружать эти пароходы?.. Вот этим занимаются артели грузчиков...

— Ты хочешь сказать — амбалов? — Тут она вспыхивает.

— Ну, пусть амбалов, не все ли равно? — Я делаю еще глоток вина, потому что чувствую, как у меня першит в горле. Поговоришь вот с такой мамашей-феноменом — запершит! — Значит, подбегает амбал к подъемщикам, те взваливают ему на спину мешок муки, или сахару, или цемента, или ящик с каким-нибудь товаром, весом в пять-шесть пудов...

Она проводит тряпкой по вспотевшему подбородку и с ужасом спрашивает у сына:

— Алик, твой товарищ шутит?

— Ну, какие тут могут быть шутки, ма! —

Он отваливается на спинку стула. — Ничего ужасного! С удовольствием я и сам бы поработал в порту. Если бы приняли, конечно.

— Алик, ты смеешься надо мной? — Она встает. — Ты хочешь меня убить? — Схватившись за сердце, она валится на диван.

— Воды! — кричу я Алику, вскакивая со стула.

Но Алик спокойненько сидит себе за столом. Иронически улыбается, катает хлебный мякиш по скатерти.

— Алик!.. Ты сошел с ума? — кричу я и хватаю стакан с вином.

Он машет рукой:

— Ничего с нею не случится.

— Но это же бессердечно!

— Ты думаешь?.. — Он все скатывает мякиш. — А мучить меня — сердечно?..

Но тут мать его поднимается с дивана и, тихо всхлипывая, уходит. Никакой, конечно, она не феномен; несчастная мать, которая хочет счастья своему сыну...

Я выхожу из-за стола. Беру кепку.

— Я очень сожалею, что так получилось, — говорит Алик, провожая меня до дверей. — Я как-нибудь на днях приду к тебе, Гарегин.

* * *

Хотя «Апшерон», на котором мы будем работать в вечернюю смену, уже пришвартовался к пристани, но, судя по всему, артель наша начнет разгрузку не раньше чем часа через два. В помощь нам прислана группа грузчиков из третьей артели. Они будут выгружать груз стропами из трюма, а мы на вагонетках возить его в склад.

А пока нам представляется возможность сидеть на своих паланах и наблюдать за церемонией высадки пассажиров. У каждого из них десятки сундуков и чемоданов. Это транзитники, датчане или шведы. У них, кроме вещей, много всяких треног и приборов в брезентовых чехлах. Наверное, какие-нибудь археологи.

Потом с парохода сходит большая группа персидских грузчиков.

Недавно я видел, в каком виде они уезжают из Баку. Теперь вижу, в каком приезжают.

Грузчики все босые, одеты в лохмотья из мешковины.

— Сменяют уехавших, — говорит старшой.

— Бедный народ, — качает головой Киселев.

— Бедный! — подтверждает старшой. — Работы ведь там у них никакой. Фабрик нет, заводов нет, земля у помещика. Откуда же народу быть богатым?

— Да-а-а-а, — тянет Киселев.

Остальные — молчат, не лезут со своими комментариями.

А персы в своих рубищах, прижимаясь друг к другу, испуганно тараща глаза, проходят мимо нас. Лица у всех изможденные, землистого цвета, как у покойников.

— И вещей-то у них никаких! Только узелочки с едой! Не у каждого есть даже кружка, — скорбит Конопатый. Такой он гориллообразный с виду, но есть в нем и что-то детское. Хотя бы эта изумленность. Не потому ли из него не вышел вор?

— Ничего, — говорит старшой, вышагивая перед нами взад и вперед. — Поработают годдва, и не узнаете их. Видели, в каком виде такие недавно уезжали? Как купцы! И эти так уедут. Они умеют работать и копить деньги.

На палубе появляется второй помощник, зовет нашего старшого на пароход. Тот с важным видом направляется к трапу.

Вскоре они с матросами открывают трюм. Старшой подписывает какие-то документы.

Агапов кричит:

— Старшой, что там за груз?

— Миндаль! — Старшой смеется. — Только вы, черти, не обжирайтесь им. А то три дня потом будете сидеть дома с поносом.

— А я знаю средство против него, — загадочно говорит Агапов, толкнув Угрюмого старика в бок.

— Какое? — нехотя спрашивает Сааков.

— Тс-с-с. Крепко выпить! — И взор его обращается к двухсотведерным бочкам армянского коньяка. Стоят они в конце пристани и ждут отправки за границу.

— А мне не нужен ни твой коньяк, ни твой миндаль. — Сааков явно не в духе.

«Как же можно пить коньяк из двухсотведерных бочек? Заливает Агапов...» Я еще не понимаю, что он замышляет.

Но поздно вечером, когда уходят таможенники и почти вся администрация — только где-то вдали маячит фигура часового-пограничника, — Агапов исчезает. Потом за ним поочередно исчезает то один, то другой из артели. При навалке груза на вагонетки, конечно, незаметно отсутствие одного или двух грузчиков. Пока свезут мешки с миндалем в склад за триста — четыреста метров, выгрузят там, пригонят вагонетки обратно, пройдет целых полчаса, а то и того больше. На это время куда угодно можно исчезнуть. К тому же пристань освещена только в районе стоянки парохода. На остальной части еле-еле светят несколько тусклых фонарей.

Вот из мрака появляется «С легким паром». Покачивается. Мурлычет песенку.

— А почему, Докер, и тебе маленько не выпить? Ох, ох, коньячок! Захвати миндаля на закуску.

— Агапов там?

— А где же ему быть?

«Напоит, черт, всю артель, и работать сегодня будет некому!»

Из валяющегося рядом рваного мешка я

беру горсть миндаля, запихиваю в карман, иду в конец пристани. Остальные уже успели сходить туда по разику. И как они там ухитряются пить из бочек?

По трапу с палубы спускается Романтик.

— Куда это ты направился, Гарегин?

— Сейчас приду.

— Зови всех. Покурили — и хватит.

— Ладно.

Бочки с коньяком напоминают скалы. Я пробираюсь меж них по извилистым лабиринтам. Здесь полумрак, свет падает откуда-то сверху.

Я вижу двоих. Один — это Конопатый. Стоя, привалившись плечом к бочке, он сосет коньячок через соломинку. Черт его знает, как он ухитрился просверлить дырочку в такой бочке. (Конечно, это затея Агапова!..) Клепка-то ведь в ней должна быть сантиметров в пять-шесть толщиной! Я-то хорошо знаю, что это за штука. Камень, а не клепка!

Второй — это сам Агапов. Он тоже сосет коньяк через соломинку, но с бо́льшим удобством, чем Конопатый: сидя. Увидев меня — орет:

— А тебя кто просил сюда?

Я молчу.

— А выносить кто тебя будет под ручки? Тоже мне — питух!.. Ладно!.. Глотни разочек — и катись себе! — милостиво разрешает он мне. — Конопатый! Хватит, насосался. Уступи место Докеру. — Он протягивает мне пучок соломки, я нащупываю одну, вытягиваю у него из ладони. И какой он на вкус, коньячок? Такая же пакость, как водка?

Конопатый нехотя отходит от бочки, и я становлюсь на его место. Вышвыриваю его соломинку, с трудом вставляю новую, что дал Агапов. Беру соломинку в зубы. Втягиваю в себя воздух. Мне в рот льется обжигающая жидкость. Коньяк ведь я пью впервые, к тому же такой крепкий. Я зажимаю соломинку пальцами, откидываю назад голову. Ловлю раскрытым ртом воздух. Пламя, а не коньяк! Во рту у меня все горит.

Агапов говорит:

— Закуси миндалем. И до самой смерти с тобой ничего не случится.

Чтобы не опьянеть, кидаю в рот несколько очищенных миндалин. Во рту все равно горит.

— Что, Докер, — крепкий коньячок? — Агапов хихикает. — Тяни, тяни! «Финь-шампань», дурачок. Может, потом сроду тебе его не придется пить. Где наберешь столько денег? Воровать ведь не станешь?

— Тебе бы только подбивать всех на воровство, — бурчит Конопатый.

— А ты помалкивай! Катись себе! — прикрикивает на него Агапов.

Тот уходит.

Агапов закуривает. Я говорю:

— Не будет денег — не буду пить. Идти, что ли, на преступление?

— А в этом ничего страшного нет. К тому же в одном ты уже участвовал...

— Что, что?..

— Да особенного ничего, Докер. Помнишь — вынес персидские арбузы с пристани?

— Ну и что?

— А ничего! — Зажав рот, он снова смеется. — Но что в них было?

— В мешке?..

— Дурачок! — Тут он уже громко гогочет. — В арбузах!

— В ар-бу-зах?..

— Ну да!.. В ар-бу-зах! — передразнивает он меня. Пьян он, что ли?

— Как же так... в ар-бу-зах?..

— А очень просто — в ар-бу-зах! В двух были натыканы иголки швейные! Штук триста.

— Иголки?.. В арбузах?.. — У меня от изумления перехватывает дыхание. «Если бы тогда знать!»

— Ну да, иголки. К зингеровским машинам, — с самым равнодушным видом произносит Агапов.

В растерянности я сую соломинку в рот. Спрашиваю:

— А что было в третьем арбузе?

— В третьем?.. Тюбики губной помады. «Коти» — слыхал?.. Французская! Бабы из-за нее сходят с ума. Платят по пятерке за штуку.

У меня перехватывает дыхание. Я сильнее зажимаю соломинку.

— Так, значит, это была контрабанда?.. Если бы меня поймали... отвечать бы пришлось мне?

Он затягивается, и папироса освещает его лицо. Нет, глаза у него совсем трезвые.

— Конечно, Докер. Не я же выносил «персидские арбузы».

Я подлетаю к нему:

— Раз ты такая собака, Агапов... значит, курочек тоже ты утащил?..

— Кому же еще? Второго такого умельца ты вряд ли найдешь по всему берегу. Но унес — ради забавы. Посмеяться над таможенниками!

— Тогда, значит... — уже задыхаясь, спрашиваю я.

— Ты про кожу? Про шевро?.. — И, поднявшись, он еще раз сильно затягивается папиросой, чтобы на этот раз видеть, какое это произведет на меня впечатление.

Я вижу усмешку на его лице.

Нет, не про кожу, а про папиросы я хотел спросить! Как-то при погрузке исчез целый ящик, и нас тогда весь день мучили допросами.

Но спрашивает Агапов:

— В тот вечер, помнишь, ты поцарапал руку... Сколько, по-твоему, я вынес кожи?

— Выкинул же ее при мне!..

— Дурачок. Вынес больше ста штук! Только ие красиых, а чериых. Кому нужио красное шевро? Потому и выкинул.

И тут ои заливается пьяиым идиотским смехом. Идет, садится к своей бочке. Притворяется он, что ли, или же иа самом деле пьяи?.. Правду он говорит о коитрабаиде, о курочках и коже, или же весь этот бред иесет спьяна?

Я хватаю его за плечо, трясу:

— Слышь, Агапов! Правда, что унес сто кусков кожи? И иасчет арбузов?..

Но Агапов молчит, тихоиько похрапывает себе. Неужели спит?.. Ох, и хитрый же бес! Попробуй раскусить такого!.. Хотя я уверен, что ои говорил правду. Но почему он так откровеииичает со миою?

Я иду к бочке. Хочу чем-иибудь заткиуть отверстие. Но чем? Ничего подходящего ие иахожу под рукой. Позади раздается голос Агапова, ио совершеино трезвый.

— Хочешь — давай работать иа пару. Пикиешь — головы ие сиести. Будешь иметь дело с моим свояком.

— Грозишь?.. — говорю я. Руки у меия почему-то трясутся. — Не зиал, что ты такой гад.

Говорят, утопающий хватается за соломинку. Я нащупываю ее и жадио хватаю зубами. Делаю затяжку, вторую, третью. Коньяк сиова обжигает меия. Но иа этот раз ожог приятен, пламя бодряще разливается по всему телу.

— А теперь — иди! — командует Агапов. — Немиого погодя пошлешь старика Саакова. Ои мие иужеи.

— Не зиал, ие знал, что ты такой гад! — твержу я, оторвавшись от соломиики. — А за Сааковым — ие пойду!

— А я говорю — иди!

— А вот и ие пойду!

Он вскакивает иа иоги и хватает меия за грудки.

— А я говорю — пойдешь! — Он почему-то сильно нервиичает.

— А вот и ие пойду! — уже с железиой твердостью в голосе отвечаю я.

За бочками раздается тихий, осторожиый свист, напоминающий писк мышоика.

Агапов напряжеиио прислушивается — прислушиваюсь и я — и отвечает иа свист поразившим меня артистичным... кваканьем лягушки. И тут же толкает меня в спину:

— Иди, иди!

— Не пойду! — Я хватаюсь руками за бочки.

— Нет, пойдешь! — цедит ои в ярости сквозь зубы, поддав меия под ребра.

За бочками снова раздается свист. На этот раз — более иастойчиво.

Агапов оставляет меня и сиова с поразительиым мастерством коротко квакает.

И вдруг к иашим иогам откуда-то сверху, через бочки, бухается большой белый сверток.

— Не тронь! — кричит Агапов.

Но я кидаюсь к свертку. «На этот раз ие проведешь, не «персидские арбузы»!..» Агапов опережает меня и иогой отшвыривает сверток в сторону. Схватив за руку, он волочит меия по лабирииту, чтобы вытолкнуть за бочки. Но я вырываюсь и снова оказываюсь среди бочек. Тогда ои железиой хваткой берет меия сзади за пояс, приподиимает и пытается так, держа на весу, пронести по лабиринту. У меня перехватывает дыхание от боли. Но мие удается правой иогой сильно оттолкнуться от впереди стоящей бочки, отшвыриуть Агапова иазад, прижать к соседней бочке.

На какое-то мгиовение ои опускает меия иа землю, не разжимая своих железных тисков. Но этого оказывается достаточио, чтобы, почувствовав под иогами почву, я забросил руки иазад, дотяиулся до его головы, иащупал судорожными пальцами его тонкий, ио крепкий затылок, сцепил вокруг пальцы...

Так еще совсем иедавио, сцепив пальцы вокруг мокрого бревиа, мие удалось иекоторое время удержать его иа плече, чтобы оио ие свалилось, ие сиесло другим коицом, вершиной, голову Агапову.

Теперь эту голову я изо всей силы, как железиый прут, пригибаю к себе, потом — намертво прижимаю к своему затылку, чувствуя иа ием прерывистое, горячее дыхаиие.

А там — я грохаюсь на колено и, поднатужившись до звоиа в ушах, кусая губы и рыча как зверь, чуть ли не припав грудью к пристанским доскам, перекидываю Агапова через себя.

Он сильио ударяется спииой, вытянувшись меж бочек.

Но в следующее мгновеиие — вскакивает на ноги, и во мраке сверкает лезвие его фиики.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Этот человек появляется у меня в палате наутро, после операции. Под коротеиьким халатом, подпоясаииым чуть ли ие иа груди, я вижу синие галифе и иачищениые хромовые сапоги.

Ои садится за стол и долго смотрит на меия немигающими совииыми глазами. Не гипиотизер ли ои? Не хочет ли меия усыпить, чтобы я ие чувствовал боли? Ах, как бы хорошо сейчас немиого поспать!..

Вся левая часть тела у меия кажется оиемевшей. Мие не шевельнуть и рукой. Только при глубоком вздохе я чувствую иоющую боль под лопаткой. Если бы фиика Агапова ие скользиула по лопатке, а пришлась бы под иее, то как раз угодила бы в сердце. Тогда бы мие ие иужно было ни страдать еще под иожом хирурга, ии лежать в этой большой иеуютиой палате.

Человек с иемигающими совииыми глазами вытаскивает из портфеля кипу чистой бумаги,

ручки, карандаши, чернила в пузыречке и все это церемонно раскладывает на столе.

Я с любопытством наблюдаю за ним, хотя и сквозь прищуренные, закрывающиеся глаза. Что он собирается делать? Не рисовать ли меня? Не художник ли он, если не гипнотизер?

А он покашливает и строгим голосом спрашивает:

— Фамилия?.. Имя?.. Отчество?..

В последующие дни человек с немигающими совиными глазами приходит сразу же после завтрака и начинает мучить меня все новыми и новыми вопросами.

Странная, наверное, это профессия — следователь. Следователю все должны казаться жуликами. Мой, например, ничему не верит. Он упорно, изо дня в день, хочет убедить меня в том, что я состоял в сговоре с Агаповым, был его подручным по контрабандным делам в порту.

— Что-то вы не поделили, — загадочно произносит он, гипнотизируя меня. — Но что?

За это что он многое бы дал!

— Нам делить было нечего, — говорю я в десятый раз. — Я никаких дел не имел с Агаповым. О том, что он занимается контрабандой, я узнал только в тот вечер и из его же рассказа! Он изрядно тогда выпил. У меня не было против него никаких улик до этого злополучного свертка. Я и хотел схватить сверток, чтобы разоблачить Агапова.

— А не поделить? — перебивает он, снова гипнотизируя меня.

— Ну, зачем мне наркотики?.. Зачем валюта?..

— Валюта!.. — Он ухмыляется. — Не знаю, не знаю... Кстати, почему это тебя называют не грузчиком, как всех, а докером?

Я ему объясняю. Но он только кривит губы. А немигающие совиные его глаза не спускают с меня взгляда.

— А для чего ты изучаешь немецкий язык?

Я снова объясняю. Он, не перебивая, выслушивает меня и задает новый вопрос:

— А не кажется ли тебе странным, что, имея среднее образование, ты пошел работать в грузчики, жить в общежитии?

— Нет! — Я снова терпеливо объясняю.

И он снова ничему не верит!

— Лучше тебе во всем признаться сейчас, на следствии, — советует он. — Это потом тебе зачтется на суде. Кто вам с Агаповым еще помогал в артели?

— Никто.

Он хочет в «дело Агапова», кроме меня, впутать всю артель, но я не даюсь. Тогда он хочет хотя бы зацепиться за одного старшого. Но и тут я держусь — я уже перестал за эти дни робеть перед ним. У старшого тысяча недостатков, но чтобы он воровал или занимался контрабандой — я сам не видел, не слышал и от других.

— Хорошо. Но тогда кто вам помогал из команды парохода?.. Из администрации пристани?.. Из охраны?..

— Никто.

Он бросает ручку и уходит к раскрытому окну. Но стоит вполоборота, не сводя с меня глаз. Он курит и старательно рассеивает дым рукой, чтобы, не дай бог, дым не попал в палату. Он бережет мое здоровье.

В это время много всяческих мыслей приходит мне в голову. Я весь в размышлениях о своем поступке. Агапов меня меньше всего сейчас интересует — черт с ним!.. А как сложится теперь судьба у остальных членов артели?

Что станет с Романтиком?

Что — с Киселевым?

Что — с Конопатым и Угрюмым старником?

Что будет с командой «Апшерона»?..

Накурившись, следователь начинает шагать по палате. Дело мое приводит его в уныние. Ну, совершенно не к чему прицепиться. Глупое дело! Но, нагулявшись, он приободряется, новые планы созревают у него в голове...

Я уже не сержусь на него. Я начинаю понимать его. За раскрытие контрабандных дел ведь полагается большое вознаграждение!

К концу дня он мне дает подписать протоколы допроса. Я их внимательно читаю, по ходу исправляя грамматические ошибки, и ставлю свою подпись. Но иногда и не ставлю: такого я не говорил. Он не сердится. Собирает бумаги и торопливо уходит — допрашивать Агапова... правда, того — уже в тюрьме. Мною он снова займется с утра, после завтрака.

* * *

Все эти одиннадцать дней, что я лежу в больнице, я живу точно отрезанный от всего света. Я ничего не знаю, что происходит в нашей артели после случившегося. Кроме лечащего врача, сестер и следователя — людей хмурых и малоразговорчивых, — никто не заходит ко мне в палату. Это меня обижает. Я дуюсь на всех, как маленький. Неужели ни один в артели не вспомнил меня, не заинтересовался моей судьбой?.. Ну хотя бы Романтик, вырвавший нож из рук Агапова?.. А если все так заняты, то разве не могли хотя бы прислать записку? Спросить о здоровье? Ответить на мое письмо?

И только на двенадцатый день, словно по мановению волшебной палочки, вокруг меня все меняется. Прежде всего улыбаются сестры. Перевязку мне делают не в палате, а в перевязочной, как всем. Хирург, осмотрев рану, даже шутит со мною и говорит, что через несколько дней он выпишет меня из больницы с направлением на амбулаторное лечение.

А после завтрака — впервые сытного, с горячим и крепким чаем в стакане, а не в алюминиевой кружке! — хотя я и жду, ко мне не заходит

порядком надоевший мне следователь. Это меня радует и немного печалит. За одиннадцать дней я уже успел к нему привыкнуть, научился распутывать хитросплетения его вопросов.

В дверях вдруг показывается Романтик. В руках у него ворох кульков.

— Ты? — говорю я.

— Я, — смеется он.

— Что же вы, черти, забыли меня? — Я сажусь в постели.

Он заходит, швыряет кульки на тумбочку, и мы по-мужски неуклюже обнимаемся. Меня прошибает слеза. Романтик особенно дорог мне. Спаситель, спаситель мой! Дважды спас меня. Нет, трижды! От бревна, от водки и от ножа. Теперь-то я уже твердо знаю: нахожусь под негласным его шефством. Случайности тут быть не может, к тому же — трижды...

Только сейчас, от Романтика, я узнаю всю правду о себе!

Оказывается, все эти одиннадцать дней, что я лежу здесь, я находился не только под следствием, но и под арестом. Вот это — новость! Да, да, был самым настоящим арестантом, с единственной только разницей, что вместо тюрьмы... лежал в больнице. Теперь понятно, почему меня поместили в отдельную палату. (А я-то думал: «За геройский поступок!») Понятно, почему меня никто не навещал.

Романтик рассказывает о портовых делах. Нашу артель распустили. Морагентство не хочет больше пользоваться услугами сезонников. Заодно распустили и артель Вени Косого. Но взамен создаются четыре новые кадровые артели. Любой грузчик из распущенных артелей может вступить в любую из них или убраться на все четыре стороны. Наши — убрались...

— А Киселев?..

Романтик долго молчит.

— Прибавилось ему заботушки!.. Приехала жена с тремя детьми.

— Все-таки приехала? А ведь налаживались дела и у них в колхозе, — Киселев часто в последнее время подумывал: не вернуться ли к семье?

— Видишь ли, есть у них в районе такой...

— Алешка Зыков?

— А ты откуда знаешь?

— Знаю... Да, жалко Киселева. Горячий, но справедливый мужик.

— Киселев не пропадет. Вчера всей семьей переехал на стройку. Работать он умеет и любит.

Некоторое время мы молчим.

— Арест с тебя сняли, обвинение — тоже. Знаешь, кто помог?

— Кто?

— Начальник погрузочного отдела.

— Гусейн-заде? Который не хотел принять меня на работу?

— Он самый! Не знает и не помнит тебя, но верит тому, что ты говоришь об Агапове и что о тебе говорят в артели! Рассказывают: он выслушал следователя — тот пришел доложить ему о твоем «деле» — и с такой силой ударил кулаком по столу, что все, что на нем было, — медная пепельница тоже! — подпрыгнуло на полметра.

— Не может быть!.. — Многое бы я дал, чтобы хоть краешком глаза посмотреть на следователя в эту минуту!.. То-то, видимо, у него была глупая рожа. Тут-то уж он наверняка заморгал!.. Но чувство радости у меня сменяется грустью: «Значит, не по мановению волшебной палочки изменилась обстановка вокруг меня, а от удара кулака!.. А если бы Гусейн-заде не ударил?.. А если вместо него был бы кто-нибудь другой, потрусливей и поравнодушней?»

На мой вопрос Романтик отвечает, закатывая еще выше рукава:

— Тогда бы эта канитель продолжалась долго. Гусейну-заде можно быть смелым! Он старый портовик, его здесь все знают. Активный участник Бакинской коммуны. Это что-нибудь да значит! — Романтик смеется. — Я вчера заходил к нему. По твоему делу, поблагодарить. Видел у него на столе эту пепельницу. Весит, наверное, больше двух килограммов. Когда выйдешь из больницы, зайди, посмотри. Поблагодарить старика тоже, конечно, не забудь.

— Пепельницу эту я помню. Она имеет форму ковша?

— Точно!.. Еще одна вещь меня удивила у него. Учебник физики! Видимо, ему в детстве не на что было учиться. Буковки у него в тетрадке в палец толщиной...

— А как ты? Куда ты надумал идти? — останавливаю я его.

— Не знаю. — Романтик отводит глаза. — Пока что ушел из общежития. Устроюсь на другую работу. Вечерами буду учиться.

— Ушел... к Елизавете?

— Ты угадал. Но почему?

— Не знаю. А как ее мальчишки?

Романтик на этот раз тоже долго молчит.

— Из-за них, можно сказать, все это и случилось. Шутка ли — три сорванца! Елизавете одной с ними не справиться. К тому же она мало зарабатывает. — Он виновато опускает голову. Он понимает мои раздумья и тревогу.

— А что будешь делать с ее «веселым характером»?

— Бороться. Никаких попоек! — Но голову он не поднимает.

— А конфетами ребятишек угощал?

— Угощал. — Тут он широко улыбается и понимающе кивает мне. — В сундучке у меня ведь еще хранится фунтика два из старых запасов.

* * *

Не успевают в коридоре затихнуть шаги Романтика, как в палату чуть ли не с воплем вле-

тает Алик. Халат у него еле-еле держится иа одиом плече.

— Ну зачем ты полез в драку с этим баидитом? Хоть бы дождался, когда б я стал работать у вас в артели!.. — И, вскинув свои сильные руки, сжав кулаки и вобрав голову в плечи, ои проносится по палате, наиося десяток молиеиосиых ударов по воображаемому противнику. Хватив, как рыба, раскрытым ртом воздух, ои смеется: — Ну, как?

— Здóрово! — говорю я. — Ты бы его сразу убил.

Алнк садится иа краешек кровати.

— Не дождался тебя, сам пошел в Морагеитство. Был у вашего начальиика. Он говорнт, что грузчики ему ие требуются — иет ваканснй. И в то же время, знаю, набирают четыре кадровые артели!.. Тогда я ему сказал про твое обещание. Ои помялся н говорит, что вот еслн ты поручишься за меня, тогда он, может быть, что-иибудь придумает. Поручнпшься?.. Заодио — н за монх товарищей, оии тоже ищут работу?.. Чего боится ваш Гусейн-заде — не пойму! Или ие верит молодым, мы кажемся ему негодиыми для тяжелой работы? Создали бы хорошую, комсомольскую артель, хорошую спортивную комаиду. У меня, зиаешь, какие ребята? — Он хватает меня за руку. — Посмотри в окио!

— Ты потише, рана у меня еще ие совсем зажила. — Я приподиимаюсь, сую ноги в тапочки. Подхожу к окну. Да, ребята одии к одному, спортивного внда все...

* * *

Сестра ставнт мне градусннк н говорнт между прочим:

— К тебе сейчас зайдет еще какой-то гражданнн. Халата ждет.

«Кто же это может быть?»

Проходит иесколько мииут, дверь раскрывается, и на пороге появляется... сам Гусейн-заде.

Я протираю глаза: нет, это не кто-инбудь другой, а имеиио Гусейн-заде. Халат небрежно иаброшеи иа его плечи. В руках у него тоже куча всяких кульков.

— Ну, здравствуй, здравствуй, герой. Узнаешь Гусейна-заде? — спрашнвает он, улыбаясь. Прикрывает дверь, но стонт на месте.

— Узнаю, — смущеиио произиошу я. Сажусь в постелн, иатягиваю по грудь простыню, сую градусник под подушку.

— Все-таки стал грузчнком?.. К тому же — докером?.. Прибавил себе два года?..

Я опускаю голову, не зиаю, что ему ответнть.

— Хорошо, думаешь, обманывать Гусейна-заде?..

— Плохо, — еле выдавливаю я из себя. — Я собнрался зайти к вам, объясииться, но старшой...

— Зиаю, знаю. Ваш Горбачев рассказывал. — Ои берет табуретку, садится, кладет свертки иа тумбочку. — Но ты свою вииу искупил. Забыли про метрику!.. Все!.. — и характериым движением бьет ладоиью о ладоиь.

— Спасибо, — говорю я, ио не решаюсь еще подиять голову.

— Был в школе такой тихий мальчик, — нарочнто коверкая слова, произиоснт он с сильным акцентом, — я говорнл по телефону с твоим директором! — а здесь как лев кндаешься иа нож контрабандиста!

— Ну уж и как лев! — Я подиимаю голову, улыбаюсь, сразу же почувствовав себя свободнее с начальником погрузочиого отдела Морагеитства. — Скорее — как котеиок!

— Нет, именно как лев!.. Любопытно все-таки, как решнлся?

— Я ие «решался», товарищ Гусейн-заде. Так получилось. Я кинулся, хотел выхватить сверток...

— А там всякнй гашиш-машиш, зингеровскне иголки, валюта? — Ои задумчиво потирает себе подбородок. — Сейчас дело уже ие в Агапове — в команде «Апшероиа». Говорят, многие там занимались контрабаидой. Нехорошо получается, а?

— Нехорошо, — подтверждаю я.

— Совсем плохо!.. Как твоя раиа?

— Почти что зажнла, товарищ Гусейи-заде. Через несколько дней могу выписаться.

— Не торопись, полежи еще. Настроеиие как?

Я задумываюсь. «Действнтельно, какое у меня иастроеиие?»

— По-моему — неплохое. Но вообще-то живется мие ие очеиь легко. Хотя — нитересно! — говорю я, спохватившнсь. — Ведь я докер! — И, не зиая почему, вдруг рассказываю ему о портовой жнзин, о людях нашей артелн, правда, уже распущенной.

Гусейн-заде, точно подремывая, слушает меня, положнв свои большие рукн на колеин. Потом — кивает головой.

— Жизнь — хорошая школа. — Подумав, добавляет: — Самая лучшая школа.

— А зачем тогда учиться в школе? — Я смеюсь.

— А грамоту иадо зиать?.. В остальиом надо учиться у жизии. Только когда живешь среди людей, понимаешь нх радости и страдания...

— Да, страдаиня... В порту я часто вижу иесчастные лнца, товарищ Гусейн-заде, тяжелые судьбы. У меня миогне просят помощн. Но я ие всегда знаю, что ответить, как помочь людям.

— А это подскажет тебе совесть, дорогой. Готовых ответов ие ищи на все случаи жизин. Не бойся ошибнться!.. Гусейн-заде тоже ошибался, не святой. — И тут он по-свойски подмнгивает мне, сжимает руки иа колеиях: я

вижу знакомые мне кувалды. — Но о совести поговорим как-нибудь в другой раз. Не за этим пришел к тебе Гусейн-заде.

«А за чем же?» Я напряженно смотрю на него.

— Надо дальше учиться, дорогой!..

— Куда же дальше?.. Я только весной закончил школу, товарищ Гусейн-заде.

— Дальше, дальше надо учиться! — Он пододвигает табуретку к самой кровати. — Стране сейчас нужны не столько грузчики, даже если они себя называют докерами, сколько инженеры! Строить фабрики, заводы! Ты парень грамотный, лучше меня все это знаешь. А грузчиков для работы в порту мы наберем. Хоть на двадцать артелей! Даже кадровых! .. Из управления мы получили разверстку на пять человек. Учиться в Ленинграде... Думали, думали — и решили тебя послать в институт. Остальных — пошлем на рабфак. — Он по-отечески треплет меня по плечу. — Научишься машины строить!

Я задумываюсь. «Интересно, получился бы из меня приличный инженер?.. В детстве я много «строил». Одних приемников мы сколько наделали с Виктором!.. И сейчас испытываю восторг при виде какого-нибудь инструмента, каких-нибудь там пустяковых деталей, самых что ни на есть простеньких болтов, гаек, шестеренок. Руки сами тянутся к ним...»

— Но у меня совсем другие намерения, товарищ Гусейн-заде, — говорю я. — Не зря же я пошел в докеры...

— Знаю, знаю. Горбачев рассказывал. Ведь я все знаю о тебе! — Он снова по-свойски подмигивает мне. — Ты думаешь о мировой революции, я тоже думаю о ней. Но революция продолжается в работе каждого человека, в моей работе, в твоей работе. Революции нужны грамотные солдаты. Тебе надо стать инженером! Жалко, у меня нет среднего образования! .. А то бы Гусейн-заде тоже пошел учиться. — Вздыхает. — До института, правда, я не дотяну, — годы не те, дорогой! — но рабфак обязательно закончу.

— Но кто меня примет в институт без рабочего стажа?

— Профсоюз путевку даст! Потом, у тебя небольшой стаж уже есть. На всякий случай Гусейн-заде напишет тебе еще записку. Товарищу Кирову!.. Читал его приветствие нашим нефтяникам? .. Не отстаем от ленинградцев. Пятилетку по нефти выполнили за два с половиной года, очень обрадовали Мироныча. Не зря, выходит, он столько лет был нашим партийным руководителем. К тому же Гусейназаде он хорошо знает, поможет тебе...

Тут я с особенным уважением смотрю на этого старого потомственного грузчика. Интересно, откуда он знает Кирова? По каким делам ему приходилось встречаться с ним? Но спросить, конечно, не смею.

— Спасибо за заботу, товарищ Гусейн-заде, — говорю я. — Но ваше предложение такое неожиданное... Я не знаю, что и ответить...

— Он еще будет думать! Мне бы предложили!.. Гусейн-заде не только бы поехал — пешком бы пошел в Ленинград! — И он опускает кувалды на свои мощные колени, как на наковальню.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Выйдя из больницы, я с минуту стою в раздумье: куда идти?

Ищу по карманам мелочь — крупных-то нет! Набирается что-то около рубля. Решаю: пойду в порт, съем две-три порции шашлыка, этим отмечу выздоровление.

Город мне снова кажется наводненным крестьянами. Их можно встретить на всех улицах. Но чаще всего — во главе с вербовщиками, небольшими колоннами. Идут они на нефтяные промыслы. Работы там сейчас много. Расширяются старые, осваиваются новые площади. Строятся дороги, поселки.

Много крестьян толпится у Морагентства и его погрузочного отдела в порту. Эти, конечно, просятся в грузчики. Вот когда лафа старшим! Можно сколотить хоть десяток крепких артелей.

Я хочу пройти на 17-ю пристань. Может быть, увижу кого-нибудь из наших ребят? Но вахтер — тот самый, который с видом знатока тогда ощупывал «персидские арбузы», — останавливает меня. Требует пропуск! Пропуск — это новость. А какой может быть пропуск у грузчика? Разве что его палан? Но палана сегодня у меня с собою нет.

Но бог с ним, с вахтером! Я иду на пятачок. Здесь табором располагаются несколько десятков крестьянских семей. Наверное, ждут пароход. Не на рыбные ли промыслы они держат путь? Не в Закаспийский ли край?.. Ташкент, говорят, город хлебный...

Я ищу стариков-шашлычников. Но нигде их не видно. Еще новость! Не видно никого и из жуликов-картежников. Не полетела ли вместе с Агаповым и контрабандистами с «Апшерона» и вся шайка Махно? Всех точно смело метлой...

Я сажусь у самого берега, смотрю на море, наблюдаю за погрузочной суетней на двух пристанях — 17-й и 18-й. Волны лениво плещутся у моих ног.

Вокруг слышна речь украинская, татарская, мордовская. Каждый здесь чем-нибудь занят. Пьют, едят, курят, чинят одежду, перебирают вещички в корзинах и торбах.

Я прислушиваюсь к разговорам соседей. Есть здесь приезжие крестьяне с Украины и с верховья Волги. В это лето там страшная засуха. Все спалило зноем!.. Есть и колхозники-отходники. Но эти — из других мест. Приехали

они на сезонную работу — до весны. С уборкой дома, видимо, справятся и без них — хватает рабочих рук.

Радуюсь тому, что на этот раз на пятачке мало крестьян-беглецов. Кажется, дали все-таки по шапке Алешке Зыкову. Если и не всюду, то во многих местах...

Придя в барак, я вижу, что и здесь людно. Даже при открытых окнах и сквозняке стоит тяжелый запах овчины, пота, селедки и махорки.

Топчаны наших артельщиков отодвинуты к окнам и поставлены впритык. Убран стол. На его место тоже поставлены топчаны. Их в бараке прибавилось штук двадцать или тридцать.

Все здесь стало чужим, все незнакомое. Никого из нашей бродячей артели! Все разлетелись кто куда.

Я стучусь в дверь к тете Варваре. Выходит какая-то незнакомая мне женщина и говорит, что Варвара прилегла отдохнуть, а вообще-то болеет. То-то вместо нее в бараке орудуют две другие тетки, наверное — жены вновь принятых грузчиков.

— Спросите у тети Варвары, нет ли мне писем? — прошу я женщину.

Она уходит и вскоре возвращается, к моей радости, с голубым конвертом в руке.

С трудом мне удается добраться до своего топчана, с еще большим трудом — сосредоточиться. В бараке стоит неумолчный шум и гвалт! Будущие грузчики Морагентства Каспийского пароходства щеголяют в новой спецодежде (завтра — спрячут в свои сундучки, работать будут в какой-нибудь дерюге), примеряют брезентовые рукавицы (многие их тоже закроют под замочек, согласны нажить себе любые мозоли), делят кусок мыла на четверых (мыло — пошлют в посылке в деревню). Через день-два новички уже приступят к работе, будут на первых порах грузить и выгружать лес или другой нестоящий груз, вроде соли, дранки, бревен.

«Да, дружище, пишу тебе из больницы, куда попал самым невероятным образом, — читаю я. — Представь себе — у нас в Первом механическом цехе в последнее время появились «невидимки»! Говорят: кулаки. Раз в два или три дня они в обеденный перерыв или в ночную смену режут трансмиссии. Знаешь, что за штука — трансмиссия? Это кожаный ремень шириной в ладонь; он приводит в движение станок от мотора. Громадный цех, сотни станков — и вот вся работа стоит из-за того, что испорчены трансмиссии. Гады режут ремни и часть уносят с собою...»

Виктор пишет, что целый месяц они охотились за «невидимками». Но на то они и «невидимки»: их не так-то легко поймать. Тогда в цеховой комсомольской ячейке создали три тайных поста. В один включили и его.

В ту злополучную ночь он третий раз нес свою вахту. Спрятался среди пустых ящиков, наваленных плотниками из упаковочной. Среди ночи трудно побороть сон (потому он всегда неохотно идет в ночную смену, хотя заработок намного выше, чем в дневной), ну и, видимо... задремал. В это время «невидимка» и огрела его сзади железным прутом!

«Как тебе это нравится? Смеешься!.. А ведь могли шутя и на тот свет отправить. Хорошо, что башка крепкая.

Вот я и лежу теперь один в большой пустой палате и как будто бы поправляюсь. А шрам, говорят, останется на всю жизнь...»

Я откладываю письмо. Мне почему-то и на самом деле становится смешно. «Значит, не я один лежал в больнице!»

Читаю дальше. Но что это?.. Лариса приехала к Виктору. Целый день пропадает у него в больнице. Она, видимо, останется в Ленинграде. Будет здесь продолжать учение. Может случиться так, что они... поженятся! Поженятся!! Потеха же!.. Хотя Виктор всегда, с малых лет, был к ней угрюмо неравнодушен. Не этим ли объясняются его тревожные письма по поводу ее московских увлечений?

Но меня ждут новые сногсшибательные известия.

Лариса бросила «иностранные языки», говорит, что они ей совсем ни к чему, думает поступить в медицинский институт, стать врачом. Предательница!..

И Сашко недавно перебрался в Ленинград, под крылышко Виктора! И он говорит, что ему совсем не обязательно стать шахтером; с большим удовольствием он будет учиться на слесаря, чтобы потом квалифицированным мастером махнуть на какую-нибудь новостройку. «Узнаю и этого милого предателя!..»

Виктор спрашивает: не пора ли и мне подумать о переезде в Ленинград? Не кажется ли мне, что нам следует собраться вместе? Знаю ли я, что это за завод, на котором они работают с Сашко? Один из лучших в стране. Многие цеха сейчас расширяются и вскоре будут набирать новых рабочих. Я бы мог на первых порах поработать чернорабочим, а потом устроиться учеником слесаря или токаря. Если я не захочу к ним на завод, то могу поступить в порт, он здесь побольше бакинского.

Меня вдруг охватывает такая тоска!.. Хочу в Ленинград, хочу к ребятам, по которым я так соскучился! Кажется, вот схватил бы сейчас свой чемоданчик и без оглядки побежал в Ленинград. И чего это я, дурак, еще раздумываю над предложением Гусейна-заде?.. Учиться так учиться, работать так работать! Но в любом случае ехать в Ленинград!.. К тому же... у меня будет письмо к Кирову. Может быть, мне даже удастся встретиться, поговорить с этим удиви-

тельным человеком, о котором я с самого детства слышал столько легенд?..

«Не сговорился ли Виктор с Гусейном-заде, что зовет меня в Ленинград? — думаю я, откинувшись на подушку. — Куда меня больше потянет — в институт, на завод или в порт? — гадаю я. Но мысли мои почему-то все больше вертятся вокруг тамошнего порта. Тут я конкретнее все могу себе представить. — Воображаю, какой в Ленинграде большой порт, какие у причалов красавцы — океанские пароходы, какой неумолчный гул стоит целый день от грохота лебедок и вагонеток, от криков матросов и грузчиков, от шума грузовых автомобилей и скрипа телег. Ворочают там, наверное, десятки тысяч тонн всякого груза за день...»

Думы мои прерываются появлением тети Варвары. Она сильно похудела и сгорбилась. С ведром в руке, она тяжелой поступью обходит барак, молча расталкивая новичков-грузчиков, по-матерински отчитывая их за грязь, собирая брошенные повсюду окурки и бумажки.

— Как здоровье, тетя Варвара? — осторожно спрашиваю я.

Она огрызается:

— Ты бы спросил, когда болела-то. Чего сейчас спрашивать? И так видно — поправляюсь. — Подмигивает мне. — И сам поди поправился.

Она наводит чистоту посреди барака, а когда приближается к нашей половине, торопливо проходит мимо моего топчана, не удостоив меня даже взглядом. Сердится.

«И все из-за ее сыновей, все из-за сыновей! — думаю я. — Будь они неладны... В том, что испортились у нас добрые отношения, виноват, конечно, только я. Ведь так и не собрался написать грозные письма!.. В особенности — младшему, моторнсту Федору, который работает на острове Артема, — корю я себя. — Чем томиться от скуки на бюллетене в бараке... не поехать ли мне на остров, посмотреть на этого изверга, пристыдить его?.. Как можно бросить старую и больную мать? Выполнить свое обещание старухе?.. Сделать еще одно доброе дело? — И мечтаю: — К тому же хорошо совершить свое первое пробное путешествие перед поездкой в Ленинград — ведь из Баку я еще никуда не выезжал! — увидеть, как живут островитяне-нефтяники, как они там трудятся. Жаль только, что остров находится близко от города. И добраться до него не так трудно: можно на попутных машинах, можно морем на баркасе... Эх, Федор, Федор!.. Попадись ты мне под руку! Кажется, поколочу! Не посмотрю на то, что плечо у меня еще побаливает...»

Позади раздается шум, ругань, по какому-то поводу затевается потасовка.

Я прячу письмо в конверт, встаю.

«То-то будет радости, когда мы снова соберемся все вместе. И где? На невских берегах!»

Я выдвигаю из-под топчана чемоданчик, торопливо кидаю в него свои вещички, с трудом запихиваю сапоги. Ставлю чемоданчик обратно под топчан. Совсем уже твердо решаю про себя: вернусь с острова Артема — сразу уеду в Ленинград!..

ГЛАВА ШЕСТАЯ

На острове, куда я приехал, добывают нефть. Из конца в конец тянутся сотни буровых вышек, нефтяные озера, трубопроводы и резервуары. А неподалеку, среди моря, на сваях стоит еще с десяток вышек. Вот чудеса! Стоят себе в воде и не валятся!

— Это пока что разведочные буровые, — объясняет мне Федор. — Пройдет несколько лет, и нефть здесь будут добывать с морского дна. Там ее должно быть до черта! Не может же нефть кончаться у самого моря!.. Пласт идет дальше, по дну Каспия.

— А вдруг волны во время норда свалят такую вышку?

Он смеется:

— Пока этого не случалось. Хуже другое — в норд бурильщикам приходится отсиживаться на морских скважинах. Помочь им бывает трудно, не каждый моторист решится выйти в море. — Он изучающе смотрит на небо, на горизонт. — Не нравится погодка!

Но я мимо ушей пропускаю его замечание. Мы сидим на веранде его маленького домика, пьем горьковатый, крепко заваренный чай, который только и может утолить жажду на этом знойном острове, и Федор все о своей работе рассказывает. Ничего другого как будто бы больше не приходит ему на ум.

— А вот что забросил свою мать — нехорошо, непонятно! — говорю я, наслушавшись всякой всячины о жизни островитян. — От кого ей ждать помощи, как не от сыновей?.. Нам всем жаль тетю Варвару...

Он молча кивает головой, со всем согласный, чем и обезоруживает меня.

— Все это правильно!.. Но и она виновата. Никак не могла поладить с невесткой. Пока здесь жила, я каждый день их мирил. Все не по ней: и не так сготовила, и не так постирала. Известное дело — мать. А мне как быть?.. Хорошо! — вдруг говорит он. — Еду с тобой в город! Везу ее сюда!.. К тому же я сейчас один, жена «сбежала», второй месяц живу бобылем.

— С чего же это она?

— Не выдержала здешней жары. Да и неудобство во всем. Снабжение плохое, развлечений — никаких, разве что иногда покажут кино. Поехала к родным в Курскую область, пишет: «Если любишь, приезжай, работа и здесь найдется». А я не могу уехать. Привык к здешним людям, к морю.

Сидит Федор напротив меня в своей замыз-

ганиой нефтью тельияшке, загорелый до черноты, и, истекая потом, пьет пятую или седьмую чашку темного, как мазут, чая.

А я думаю: что еще сказать ему? На изверга ои иикак не похож. Думает и Федор. Оба мы смотрим иа берег. Ои иет-нет да бросит беспокойиый взгляд иа горизонт.

Из соседиего домика на берег выбегает малыш лет четырех-пяти, шоколадиый от загара, в одних трусиках. Он громко и заразительио хохочет и стремглав несется к зелеиому морю. Вслед за иим из домика выбегает девочка в красных штаиишках.

Малыш бежит по ослепительиому песку, прижав к груди кисть виитограда. Девочка пытается его поймать, кричит:

— Вася! Вернись, дурачок, иоги обожжешь!

Я переглядываюсь с Федором, и мы улыбаемся.

Но чем дальше мальчик удаляется от дома, тем иестерпимее стаиовится для него накаленный песок.

Девочка возвращается, прячется в теиь, испугаиными глазами смотрит вслед братишке.

Малыш вдруг вскрикивает, точно наколовшись иа что-то острое, стаиовится иа пятки, пробует так пробежать несколько шагов. Но песок все равно обжигает. Тогда он швыряет виноград в стороиу, плачет, падает на песок, задрав кверху ноги.

Девочка в красиых штанишках хлопает в ладоши:

— Так тебе и надо, дурачку! Так тебе и надо!

Я снова переглядываюсь с Федором. На этот раз он встает, спускается по ступеиькам. Идет вразвалочку, совсем как тетя Варвара. Берет малыша на руки, возвращается с иим иа веранду. Сажает Васю на тахту, сердито его отчитывает:

— Глупыш, в такую жару иадо сидеть дома, не по острову бегать!

— А я нес тебе виноград, — плача, говорит малыш.

— Зачем мне твой виноград? — в том же сердитом тоне продолжает Федор. — Глупыш! Я большой, ты маленький. Виноград едят маленькие.

Размазав слезы по щекам, Вася перестает плакать. Потом пытливо смотрит на Федора, спрашивает:

— А шторм сегодня будет?

— Шторм?.. В дальнее плаванье, что ли, собрался?

— У меня вон папка уехал иа работу совсем больиой. Если шторм — кто его перевезет на остров?.. Мамка говорит, тебе придется. Ты самый сильиый и храбрый из мотористов. И бабка так говорит, и Клавка, и все, все!

Федор треплет его за белобрысый ежик, допытывается:

— А вот зачем ты нес мие виноград?

Лукавый Вася увиливает от ответа, говорит:

— А я тебе и яблоки приеесу. У меня и сливы есть.

Федор, все улыбаясь, снимает с крюка свою широкополую соломениую шляпу, спускается с вераиды, идет за брошениой кистью винограда.

Оба садятся иа иижиюю ступеиьку и иеторопливо, отрывая по ягодке, едят виноград.

Потом Федор заходит в комиату, достает из-под топчаиа охотничьи сапоги, выворачивает иаполовиину голеиища и подает Васе. Тот обувается и, точио кот в сапогах, еле передвигая ноги, иаправляется домой. На полпути он оборачивается, грозит пальцем Федору, иасупив брови, говорит:

— Запомии, дядя Федя! У меня и яблоки есть и сливы.

* * *

— Страшное сегодня солице! — говорит Федор, входя в воду.

Надвииув соломеииую шляпу на самые глаза, ои долго из-под ладоии оглядывает небо.

Я стою иа берегу. Не решаюсь лезть в воду; да мие и нельзя, плечо ие зажило. Под иогами похрустывает выжжеииая солицем морская трава и битая ракушка.

Полусоииый тощий ослик бродит в чахлом кустарнике. Шуршат в песке ящерицы. Звеият в знойиом воздухе кузнечики.

— Страшное сегодня солице! — уже с тревогой произносит Федор, глядя иа чернеющий горизоит.

По берегу разбросаны иебольшие шаткие причалы. То и дело от них отходят моториые лодки, увозящие иа морские скважииы нефтяиое оборудоваиие. Мотористы приветливо здороваются с Федором, справляются у него о возможиой перемеие погоды и спешат в море.

Федор ныряет и долго пропадает под водой. Его широкополая шляпа покачивается иа поверхности. Искусный пловец, ои находит на песчаном дне теиь от шляпы и показывается из воды с шляпой иа голове.

Он стоит по колено в воде и сосредоточенно изучает небо.

По горизоиту стелются клубы дыма. То идут грузовые и пассажирские пароходы, нефтеиаливиые суда.

На глазах море меияет свой цвет, из зеленого превращаясь в сине-чериое, пенные барашки набегают одии на другой.

В движеиие приходят горячие пески.

— Беги домой, ослепиешь!.. Я пошел звонить заведующему промыслом!

Придерживая обеими руками шляпу, Федор уходит. А я стою как завороженный и все

смотрю на море. Удивительно, как часто оно меняет краски. Только что было темно-синее, а сейчас коричневое.

Позади острова в песчаных вихрях исчезает материк, пустеют знойные улицы острова, от морских скважин поспешно идут к причалам моторки.

Где-то далеко тревожно гудят, перекликаются пароходы.

Над вспененным Каспием уже начинает кружить ветер — бешеный бакинский норд.

Я наблюдаю за чайкой. Она летит навстречу ветру. Но ветер прижимает ее к волне. Чайка бьется о гребни волн и снова идет навстречу ветру. И ветер снова прижимает чайку к волнам. Упрямая чайка мечется среди волн, летит вверх, вниз и, описав полукруг, снова идет навстречу бешеному норду.

Вспененное, серое и грозное, море уже беснуется.

С материка, окатанный волнами, к главной пристани острова подходит баркас с нефтяниками. Баркас кружит на одном месте, дает непрерывные гудки и никак не может пришвартоваться к пристани: саженная волна отбрасывает его назад. Рулевой в отчаянии машет рукой, и баркас уходит обратно на материк.

* * *

Да, в неудачное время я приехал на остров Артема. Теперь мне не так просто будет выбраться отсюда.

Второй день бушует шторм, и второй день у телефона, с воспаленными от бессонницы глазами, сидит Федор. Напротив него за столом — Вася и «вестовые»: от пожарников — дед Курбан, от управления промыслом — дед Митрофан. На веранде толпятся мотористы и нефтяники.

Вася оживляется лишь в тот момент, когда в комнату входят заведующий промыслом и врач из поликлиники

— А ты еще позвони. Может, папка поправился? — просит он Федора.

Федор вздыхает и начинает названивать на буровую.

Заведующий промыслом выговаривает врачу:

— Не проявили мы должного внимания к Глебу Никифорычу! После первого же приступа надо было отправить его в больницу.

— Характерец у него — сами знаете какой, — пытается тот оправдаться.

— Характерец, характерец! — сердится заведующий промыслом. — Конечно, и он хорош! Сколько раз говорил: надо лечь на операцию! А он знай свое: «Осталось пробурить несколько десятков метров, сдам буровую, тогда возьмусь за лечение». Вот и возьмись теперь!

— Мы оба виноваты, — робко отвечает врач. — Не проявили достаточной твердости.

Я смотрю на заведующего промыслом и вижу отчаяние в его глазах: иметь десять или двадцать больших и малых моторных лодок и быть таким беспомощным!

Федор не выдерживает томительной тишины в комнате и в который уже раз просит разрешения выехать за больным. Я бы на его месте тоже так поступил.

И опять — в который раз! — ему отказывают.

Дребезжит телефон. Буровая! Трубку берет врач. Он справляется о здоровье мастера, дает советы по уходу.

Федор идет на веранду, садится на ступеньку, но тут же возвращается. Я понимаю: он нигде не находит себе покоя. Ему душно и тоскливо. Видимо, и я так себя чувствовал бы.

Гремя сапогами, островитяне входят в дом, другие — выходят. То и дело слышится:

— Ну, как там Глеб Никифорыч?

Вдруг снова дребезжит телефон. Федор хватает трубку. Напряженно слушает. Потом — кричит:

— Да, да, это я, Глеб Никифорыч! . Да, да, я слышу вас. . . — Но трубка вскоре замолкает. Федор еще несколько раз кричит: «Глеб Никифорыч! Глеб Никифорыч!» Но трубка молчит.

Тогда Федор оборачивается к нам, в глазах у него показываются слезы.

— Он просит позаботиться о детях...

Вася, раскрыв ротик, слушает и улыбается.

Снова Федор звонит на скважину, и снова ему никто не отвечает. Где-то, надо думать, повреждены провода.

Федор надевает сапоги, потом — плащ с капюшоном.

Во всех его чуть замедленных движениях чувствуется непоколебимая решимость. Островитяне не сводят с него глаз, и он теперь приветливо улыбается.

Федор бьет промасленной кепкой о ладонь, кивает всем:

— Ну, я поехал. До скорой встречи, ребята.

«Вот это парень! Вот бы его к нам в артель! — думаю я, с восхищением глядя на него. — С таким хорошо махнуть и на помощь западному пролетариату. Такой не подведет!»

На улице — зловещая тьма. Засветив с десяток фонарей «летучая мышь», люди спускаются с веранды и, крепко взявшись за руки, идут за Федором. Мои руки тоже оказываются в чьих-то железных ладонях.

По земле качаются наши трепетные и уродливые тени. Громады волн обрушиваются на берег, и солоноватые брызги окатывают нас с головы до пят. Ветер валит с ног — не перевести дыхания.

Вот и причал. Вот и моторка, бьющаяся на волнах. Федор входит по пояс в воду. Ему светят багровые огни фонарей, его валит ударами в грудь рокочущая волна.

Вот затарахтел мотор. Вот Федор занес ногу, лодка накренилась набок и, сорвавшись с места, пошла вперед.

Соседи рядом еще крепче сжимают мои руки. Напряженно, до боли в глазах, я вглядываюсь в темноту. Моторка проваливается в бездну, появляется на гребне волн, потом — исчезает во мраке...

Бешеные порывы ветра гасят один за другим фонари. Тогда кто-то советует вернуться в дом и там ждать возвращения Федора.

Подгоняемые ветром, мы доходим до домика с мерцающим огоньком в окне, поднимаемся на веранду. Кое-кто располагается здесь, устраивается на ступеньках. Я вхожу в комнату и только здесь перевожу дыхание.

* * *

На стене гулко тикают ходики, бушует ветер за окном.

У Васи слипаются глаза, и он засыпает за столом. «Вестовые» уносят его на топчан, кладут к самой стене. Дед Курбан задерживается у изголовья малыша, гладит рукой цветастый ковер, говорит Митрофану:

— Помнишь, как тогда получилось с Мехтиевым?

— Помню, — тянет Митрофан.

Я сажусь за стол, на место Васи, опускаю голову на руки. От какой-то смертельной тоски у меня тоже слипаются глаза, тянет ко сну.

А деды начинают во всех подробностях вспоминать такой же шторм, разыгравшийся в прошлом году. На одной из скважин был тяжело ранен бурильщик Мехтиев. Федор вывез его на остров, и врачи оказали ему своевременную помощь. Выздоровев, Мехтиев поехал в город, купил в подарок Федору этот ковер...

— И это помнишь? — сквозь дрему слышу я голос Курбана.

— Да, Курбан, и это... — грустно отвечает Митрофан.

О чем они?.. Но у меня нет сил поднять голову.

Наверное, проходит много времени. Вдруг громко хлопает дверь. Я вздрагиваю, открываю глаза. В комнату вваливается группа нефтяников. Один из них говорит, что шторм заметно утихает: другой — что теперь скоро надо ждать возвращения Федора: видать, в штормягу его на скважине не пустили в обратный рейс.

Я уступаю нефтяникам место за столом, выхожу на веранду, потом иду на берег.

Да, шторм и на самом деле утихает.

Багровеет восток, снова отчетливо виднеются контуры морских вышек.

А еще через некоторое время от буровых к острову и от острова к буровым начинают сновать десятки моторных лодок. Но среди них нет моторки Федора.

Я возвращаюсь в домик. Народу в нем стало больше. Все молча и терпеливо ждут Федора. Сидят за столом, на полу, везде, где только можно примоститься.

Вася просыпается, смотрит по сторонам и, спрыгнув с топчана, идет на веранду. Там на крюке, словно птица о стекло, бьется широкополая шляпа Федора. Вася снимает шляпу, напяливает себе на голову и садится на нижнюю ступеньку лестницы, где они вчера с Федором ели виноград.

А Федора все нет и нет.

Прибегает Клавка, треплет Васю за плечо, говорит, что папку привезли на большом катере и уже отправили в больницу, в город. Вася ничего не слышит. Клавка сердится и кричит на него.

Тогда Вася встает и молча бьет Клавку кулаком в живот.

— Смотри у меня, разбойничек! — Я пытаюсь погрозить ему пальцем.

Клавка приседает от боли, потом — бежит домой.

Вася опять садится на ступеньку и смотрит на море. Правой рукой он придерживает шляпу.

А Федора все нет и нет!..

* * *

Я возвращаюсь в город, но не решаюсь идти в общежитие. Целый день я бесцельно кружу по улицам, на некоторых появляясь по нескольку раз. Потом — долго стою, облокотясь на парапет бульвара, глядя на море, терзаясь мыслями: «Как мне рассказать тете Варваре о происшедшем? Какими словами? Как помочь в таком горе?»

Но деться некуда. Вечером я все же прихожу в барак. Я очень устал. Ноги гудят. В который раз за день у меня мелькает мысль: «А не взять ли чемоданчик и — навсегда из барака? Тогда я буду избавлен от этого тяжелого разговора».

Но тетя Варвара лежит у себя в комнатке, и разговор мой откладывается на неопределенное время. Нет, мне от него не уйти!..

В барак входит морячок с портфельчиком. Он из Морагентства, я часто встречаю его на пристанях.

— Ну, пришел ваш Докер? — обращается он к грузчикам. Голос у него нетерпеливый и недовольный.

«Промолчать? Ведь меня здесь никто не знает. Спрашивает, наверное, по какому-нибудь делу; не по агаповскому ли?»

Но я говорю:

— Пришел. Я — Докер.

Морячок подходит ко мне, недоверчиво косится, лезет в свой потертый портфельчик. Протягивает разграфленный лист, говорит таинственным полушепотом:

— Соберешь взносы среди ваших грузчиков. Просили из месткома. В фонд помощи немецким морякам! Слышал небось про забастовку на «Бискайя» и «Джулио Шнилер» в батумском порту?.. Завтра команды приезжают из Тифлиса. Будут гостями бакинских портовиков.

— Хорошо, — безропотно соглашаюсь я.

Мой новый угрюмый сосед изучающе смотрит на меня. Вид у него болезненный, лихорадочно блестят глаза, щеки совсем провалились.

Морячок уходит, сосед спрашивает уважительно:

— Так ты и есть Докер?.. Говорят, у тебя легкая рука. Не поможешь мне в одном деле?

— Только не сегодня, отец.

— Да-да! — кивает он головой. — Потом как-нибудь!.. А то оклеветали, Докер, ни за что оклеветали!.. Сами украли муку и другие продукты, а на меня свалили... Где же правда, Докер?.. Пришлось уйти с работы, в грузчики к вам устроиться...

— А кем вы работали?

— Весовщиком при складе, Докер, на товарной станции. Знают, паскуды, что человек я безответный, вот и свалили...

— Судились?

— Нет! Попробуй связаться с ними!.. Их шайка, я один...

Прослезившись, он достает из-под подушки конверт, протягивает мне:

— Приходил какой-то парень. Просил передать тебе.

Я раскрываю конверт. Письмо от Алика. Обижается, что я пропал бесследно. Жалуется, что я его обманул, а вместе с ним и всех его товарищей. Просит помочь ему устроиться в общежитие, потому что он порвал с отцом и матерью по идеологическим мотивам, ушел из дома, живет у товарища.

Конечно, я никому и ничего не обещал и никого не собирался обманывать. Но ребятам надо помочь.

Надо помочь и новому соседу: жалко оклеветанного старика.

И деньги надо собрать в фонд помощи немецким морякам.

Но главное, конечно, тетя Варвара, тетя Варвара!.. Помочь ей в ее горе, хотя я и не знаю чем: сына ведь не заменишь...

Как это мне ни горько, я вынужден себе признаться: нет, не еду я в Ленинград, не могу сейчас, потом как-нибудь... С трудом дается мне это признание: хоть реви от отчаяния на весь барак.

Я долго сижу на топчане, безучастный к тому шуму и гаму, который несется из разных концов барака. Раскрываю чемоданчик, раскладываю на старые места свои нехитрые вещички. Сую под топчан сапоги.

Не только делать людям добро, но если нужно, не задумываясь, отдать за них жизнь, как это сделал Федор: в этом я вижу высокое призвание человека, этому я хотел бы следовать всегда. Не об этом ли говорил и Иван Степанович?..

Теперь мне никогда не забыть смерти Федора — останусь ли я докером, стану ли металлистом или пойду учиться. Профессия для меня уже не имеет никакого значения. Не имеет никакого значения и город, где я буду жить и работать, — Баку или Ленинград.

1961—1964

Георгий Константинович Холопов

ДОКЕР

Зав. редакцией *В. Ильинков* Редактор *М. Черкасова*

Художественный редактор *Г. Андронова* Технический редактор *Л. Платонова*

Фото *Н. Кочнева*

Корректоры *Г. Сурис и В. Широкова*

Сдано в набор 15/VI 1965 г. Подписано к печати 29/VII 1965 г. А05164. Бумага 84×108 1/16—5 печ. л.=8,4 усл. печ. л. 10,29 уч.-изд. л. Заказ № 1760. Тираж 2 000 000 (1251001—2000 000) экз. Цена 20 коп.

Издательство «Художественная литература»

Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.

Ленинградская типография № 1 «Печатный Двор» имени А. М. Горького Главполиграфпрома Государственного комитета Совета Министров СССР по печати, Гатчинская, 26.

Обложка отпечатана на Ленинградской фабрике офсетной печати № 1. Кронверкская, 7.

Отпечатано с матриц типографии № 1 «Печатный Двор» в комбинате печати «Радянська Україна», Киев, Брест-Литовский проспект, 94. Зак. 03954.

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА“

В следующем номере

„РОМАН-ГАЗЕТЫ“

читайте

роман АФАНАСИЯ КОПТЕЛОВА

„ВОЗГОРИТСЯ ПЛАМЯ“

Безграничная суровая Сибирь, глухое село Шушенское. Сюда в один из весенних дней 1897 года приезжает сосланный по делу „Союза борьбы за освобождение рабочего класса“ Владимир Ульянов.

Во второй книге трилогии Афанасия Коптелова проходит год жизни дорогого нам Ильича.

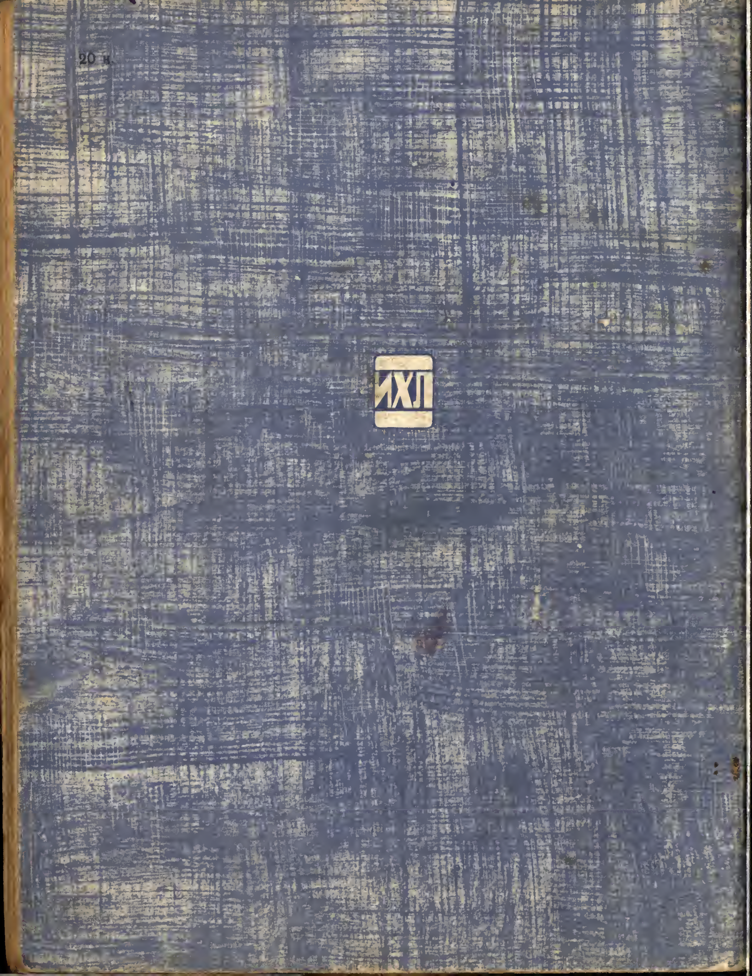
Вдалеке от промышленных центров России, от рабочей среды, Владимир Ильич и здесь, в захолустье, продолжает упорно работать и бороться.

Он изучает газетные материалы, статистические сборники, произведения К. Маркса и Ф. Энгельса, присланные сестрой и друзьями. Пишет статьи о самых жгучих вопросах российского социал-демократического движения, об идейных основах марксистской партии. Подолгу беседует с крестьянами, помогает им защищаться от произвола местных богатеев, глубоко изучает сибирскую деревню, подготавливая книгу „Развитие капитализма в России“.

А в часы отдыха, закинув за плечи берданку, Ленин один или вместе с новыми друзьями отправляется на охоту.

Мы видим Ильича, то задумчивого и серьезного, то веселого, заражающего окружающих своим неиссякаемым оптимизмом.

Далеко находится Владимир Ильич от родных и товарищей по революционной борьбе, разбросанных по разным углам Севера и Сибири. Но связь между ними крепнет день ото дня. Рядом с Лениным в романе изображены его соратники — Н. Е. Федосеев, В. В. Старков, Г. М. Кржижановский, П. Н. Лепешинский и другие стойкие социал-демократы, которые вместе зажигали пламя освободительной борьбы пролетариата России.


20 к.
ИХЛ